

© 2020. И. А. Виноградов

Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Российской академии наук
г. Москва, Россия

Психологизм Н. В. Гоголя

В статье впервые рассматривается специфика наследия Гоголя как сатирика с точки зрения писательской психологии. Тесная связь в творчестве Гоголя между душеведением и сатирой объясняется христианским пониманием падшести человеческой природы. Согласно Гоголю, духовная оценка несовершенного состояния души неизбежно приводит художника к критическому пафосу: далекое от идеального душевное состояние ни под каким предлогом не может быть предметом поэтического одобрения, но вправе претендовать лишь на сатирическое изображение. Залогом реалистичности художественного образа служит нелицеприятная правда о падшем человеке. основополагающее свойство поэтики Гоголя состоит в творческом соединении пастырского обличения с сатирическим осмеянием. Исповедь художника о собственных недостатках, изгнание порока с помощью смеха выступают средством вовлечения читателя в процесс преобразования, конечной целью которого является воскрешение «мертвых душ». В работе проанализирована роль дневника и исповеди в становлении гоголевской сатиры, отношение писателя к «психологизму» новейшей литературы, его взгляд на проблему положительного героя. Подробно прослежена история вызревания взглядов Гоголя на целительное значение смеха, сознательная ориентация художника в воспитании современников на деятельный характер стыда и исповеди.

Ключевые слова: Гоголь, психологизм, христианское душеведение, дневник, покаяние, стыд, исповедь, обличение, смех, сатира.

Информация об авторе: Виноградов Игорь Алексеевич, <https://orcid.org/0000-0002-9151-4554>, доктор филологических наук, главный научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, 25 а, 121069 г. Москва, Россия

E-mail: info@imli.ru

Дата поступления: 23.06.2020

Дата публикации: 08.12.2020

Для цитирования: Виноградов И. А. Психологизм Н. В. Гоголя // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 4. С. 6–73. DOI <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2020-2-4-6-73>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

© 2020. **Igor' A. Vinogradov**
A. M. Gorky institute of World Literature
of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia

Psychology of Nikolai Gogol

The article first considers the heritage specifics of Nikolai Gogol as a satirist from the point of view of the writer's psychology. The close connection of psychology and satire in Nikolai Gogol's creative work is explained by the Christian understanding of the fall of human nature. According to Nikolai Gogol, a spiritual assessment of an imperfect state of the soul inevitably leads the artist to critical pathos — a state of mind far from ideal cannot be the subject of poetic approval under any pretext, but has the right to claim only a satirical image. The guarantee of the realism of the artistic image is the impartial truth about the fallen man. The fundamental property of Nikolai Gogol's poetics is the creative combination of pastoral conviction with satirical mockery. The artist's confession about his own shortcomings, the expulsion of vice through laughter, is a means of involving the reader in the process of transformation, the ultimate goal of which is the resurrection of "dead souls". The paper analyses the role of the diary and confession in the formation of Nikolai Gogol's satire, the writer's attitude to the "psychologism" of contemporary literature, his view on the problem of the positive character. The history of the aging of Nikolai Gogol's views on the healing value of laughter, the artist's conscious orientation in upbringing of his contemporaries towards the active nature of shame and confession is traced in detail.

Keywords: Nikolai Gogol, psychology, Christian psychology, diary, repentance, shame, confession, conviction, laughter, satire.

Information about the author: Igor' A. Vinogradov, <https://orcid.org/0000-0002-9151-4554>, DSc in Philology, Chief Researcher, A. M. Gorky institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya 25a, 121069, Moscow, Russia

E-mail: info@imli.ru

Received: June 23, 2020

Published: December 8, 2020

For citation: Vinogradov I. A. Psychology of Nikolai Gogol. Two centuries of the Russian classics, 2020, vol. 2, № 4, pp. 6–73. (In Russ.) DOI <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2020-2-4-6-73>

1. Особенности психологизма Гоголя

Проблема психологизма Гоголя настолько специфична, что в свое время известный историк литературы С. А. Венгеров даже проглядел ее в произведениях писателя. Исследователь полагал, что Гоголя «не захватывает ни любовь, ни семейное счастье, ни область личных радостей и разочарований, <...> ничего из той сферы интимных настроений человека, которая так глубоко волнует всех других писателей и занимает <...> огромное место даже в произведениях таких специальных ловителей общественных “моментов”, как Тургенев, Гончаров и др.» [Венгеров: 133]. Заявление Венгерова зиждется на очевидном недоразумении, на полном игнорировании уникальных особенностей гоголевского психологизма. Мало найдется писателей, кто бы с такой же настойчивостью, как Гоголь, подчеркивал связь своего творчества с душеведением, с изучением души. По признанию художника в «Авторской исповеди», «жажда знать душу человека <...> томила» его «от дней <...> юности» [Гоголь 2009–2010. 6: 236]. Однако опровергнуть суждение Венгерова до сих пор никто не попытался.

При всем разнообразии традиционно решаемых литературоведением задач, едва ли не главной, хотя порой не вполне очевидной за множеством немаловажных проблем, является изучение личности писателя — носителя тех смыслов, духовных и эстетических предпочтений, вкусов, образно-художественного мышления и словотворчества, определенного душевного склада, которые находят отражение в его созданиях. В этом отношении произведения любого писателя можно назвать «исповедальными», передающими все многообразные оттенки его внутреннего мира и самой авторской биографии. На такой характер художественного творчества указывал сам Гоголь. В статье «О Современнике» он замечал: «Поэзия есть чистая исповедь души, а не порождение искусства или хотенья человеческого; поэзия есть

правда души...» [Гоголь 2009–2010. 6: 213]. Конкретно о своей знаменитой поэме «Мертвые души» он говорил как о «деле, взятом из души» [Гоголь 2009–2010. 6: 83]; в «Авторской исповеди» добавлял: «...мои <...> сочиненья связаны тесно с делом моей души» [Гоголь 2009–2010. 6: 245].

Библиография работ о Гоголе насчитывает несколько десятков тысяч единиц. Между тем гоголевская личность в представлении читателей по-прежнему остается загадочной и противоречивой. За Гоголем в качестве главной, отличительной особенности давно и справедливо закрепилась репутация сатирика, писателя с «поражающей силой сарказма» [Гоголь 2009–2010. 6: 238]. Однако вопрос о происхождении «сатирического» начала в гоголевском творчестве до сих пор не поставлен. До настоящего времени нет также ответа и на вопрос о том, что же в конце концов обличает писатель. Еще Ю. Н. Говоруха-Отрок указывал: «Далеко ли мы ушли в понимании его созданий?.. <...> ...Со времен Белинского мы только и пришли к тому, что отделяемся от Гоголя ходячими фразами...» [Говоруха-Отрок: 760–761]. Загадка гоголевского специфического психологизма кроется именно в этой оставленной без внимания особенности — в психологически мотивированной направленности обличительного пафоса писателя. Критика души в ее падшем, обусловленном грехопадением состоянии является главным предметом гоголевской сатиры.

В литературоведении не предпринимались попытки объяснить, почему Гоголь не стал тем «возвышенным» писателем, созидającym характеры сугубо положительные, «являющие высокое достоинство человека», — тем «великим всемирным поэтом», о котором сам писал в «Мертвых душах» [Гоголь 2009–2010. 5: 129], а встал в «ряд писателей, оскорбляющих человечество» [Гоголь 2009–2010. 5: 130], «опустился» до сатиры. Гоголевские произведения, в силу указанной исповедальности художественного творчества, содержат немало материала — от намеков и «подсказок» до прямых авторских комментариев, — позволяющих с достаточной полнотой ответить на вопрос о том, почему вместо «счастливой» участи писателя, определившего для своего пера лишь «далеко отторгнутые» от земли, «возвеличенные образы» (конкретно — восторженного Шиллера, поэта «на небесах»), Гоголь избрал судьбу прозаика, описывающего «характеры скучные, противные», — «дерзнул вызвать наружу <...> всю страшную, потрясающую тину ме-

лочей, опутавших нашу жизнь» [Гоголь 2009–2010. 5: 128–129]. Судя по многочисленным высказываниям Гоголя, его выбор был осознанным и продуманным. Остается лишь удивляться, как при обширном объеме данных для наблюдений, при крайне важной роли Гоголя в истории отечественной «сатирической» литературы вопрос этот до сих пор остается без должного освещения.

2. Роль дневника и исповеди в становлении гоголевской сатиры

Подсказанный самим Гоголем взгляд на его произведения как на «исповедь» души автора диктует особенности исследовательского подхода. Наиболее плодотворным в определении истоков «сатиры» Гоголя является анализ отношения писателя к жанру дневника. Через осмысление Гоголем исповедального, дневникового жанра открываются наиболее значимые критерии в оценке его важнейших особенностей как художника.

Однако избранный в соответствии с характером исследования подход оказывается крайне проблематичным. Дело в том, что самое главное, важнейшее из тех произведений, которые предполагаются для анализа при таком подходе, — это дневник Гоголя — его прямая «исповедь». Но от гоголевского дневника не сохранилось ничего. Имеется несколько свидетельств, что дневниковые записи Гоголь вел, однако судить о них можно лишь по этим свидетельствам. Так, о своих автобиографических записках Гоголь упоминает в письме к П. А. Плетневу от 30 ноября (н. ст.) 1837 г. Это письмо он предполагал напечатать в плетневском «Современнике» в качестве изъявления благодарности Императору за оказанную материальную помощь: «...Когда-нибудь вы увидите записки, в которых отразились <...> впечатления души моей...» [Гоголь 2009–2010. 7: 526]. Прямые советы вести дневник содержатся в письме Гоголя к сестрам осени 1843 г. — весны 1844 г. [Гоголь 2009–2010. 12: 404], в трактате «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии» (1843–1844) [Гоголь 2009–2010. 6: 308 (см. подробнее ниже)]. Одесская знакомая Гоголя Е. А. Хитрово 5 марта 1851 г. записала следующий разговор с писателем: «Я как-то

осмелилась сказать, почему бы ему не писать записок своих. Гог<оль>: “Я как-то писал, но, бывши болен, сжег. Будь я более обыкновенный человек, я б оставил, а то бы это непременно выдали; а интересного ничего нет, ничего полезного, и кто бы издал, глупо бы сделал. Я от этого и сжег”» [Виноградов 2017–2018. 7: 43]¹.

Несмотря на то, что дневниковые записи Гоголя до нас не дошли, для изучения вопроса чрезвычайно много дает сам факт сожжения писателем его личного дневника. Можно сказать, что он и служит главным ключом к решению проблемы. Забегая вперед, выскажем главное — напрашивающееся здесь как бы «само собой» — предположение. Резко критическое отношение Гоголя к дневнику (вызвавшее уничтожение записей) с достаточной степенью вероятности подразумевает серьезный духовный подтекст проблемы — указывает на влияние в оценке писателем своих душевных движений глубокого христианского самоанализа. При очевидных в свете евангельских заповедей недостатках собственного «я», ощущение исключительной важности своей личности, представление о ее насущной «пользе» или «интересе» для окружающих Гоголю было не свойственно. Вследствие этого он не считал нужным обнародовать свои дневниковые записки. По той же причине «сочувственный» к проявлениям неидеального «я» психологизм был невозможен для него и в художественном творчестве. «Невозможен» не потому, чтобы Гоголь не был способен к передаче внутреннего мира персонажа, но прежде всего по соображениям духовного характера: оттого что «психология» падшего «я» для христианина ни под каким предлогом не может быть предметом художнического одобрения и поэтического самолюбования. Эта сфера психологического анализа,

¹ Очевидным автокомментарием к писательской биографии Гоголя является уже упомянутая так называемая «Авторская исповедь». Однако название этого произведения — не гоголевское. Оно было дано неозаглавленному сочинению после смерти Гоголя издателями С. П. Шевыревым и Н. П. Трушковским. Несмотря на утвердившееся название, «исповедальность» этого произведения, носящего особый литературный замысел, условна. Заявленное здесь Гоголем намерение «чистосердечно <...> изложить всю повесть» своего «авторства» [Гоголь 2009–2010. 6: 220] существенно ограничено и подчинено задаче утишения страстей, разгоревшихся в обществе после выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями». Сокращенным вариантом <Авторской исповеди> является гоголевская статья «Искусство есть примирение с жизнью».

напротив, «достойна» лишь последовательного, беспощадного «преследования» и разоблачения. Конечной целью этого критического отношения является коренное изменение, исправление, покаяние падшего человека.

Исходя из этого, можно утверждать, что Гоголь в своих «сатирических», обличающих греховную человеческую природу произведениях «возвращал» в XIX в. психологизму его исконное значение. Ибо от церковного таинства исповеди и покаяния, собственно говоря, и ведет свое начало внимание человека христианской эпохи к внутреннему миру. Вместо самолюбования душевной «красотой», беспристрастный анализ внутреннего мира неизменно вызывает у человека, искренне кающегося, чувства прямо противоположные — не самодовольство и одобрение, а «смущение», «страх», «стыд и посрамление» — как у «преступника, когда он раскрывает обстоятельства дел своих пред лицом судей и зеркалом правосудия» [Гоголь 2009–2010. 9: 91]. Так определяются чувства, переживаемые во время исповеди, в собственноручной выписке Гоголя «Приготовление к исповеди и причащению» в его пространном сборнике «Выбранные места из творений св. Отцов и учителей Церкви».

3. Отношение Гоголя к «психологизму» новейшей литературы

Критическое отношение Гоголя к предметам, которые являются сутью исповедального жанра (порокам, слабостям, пустым пристрастиям, уничтожаемым в церковном таинстве), хорошо передают строки его статьи в «Выбранных местах из переписки с друзьями» с многозначительным названием «О том, что такое слово». Критикуя здесь журналистскую деятельность своего друга М. П. Погодина, Гоголь писал: «Приятель наш П.....н имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно или к бесчестию его. Он скрепляет это дело известной оговоркой журналистов: “Надемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщение сих драгоценных строк; в великом человеке все достойно любопытства”, — и тому подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь мелкий читатель останется

благодарен; но потомство плюнет на эти драгоценные строки, если в них бездушно повторено то, что уже известно, и если не дышит от них святыня того, что должно быть свято» [Гоголь 2009–2010. 6: 21].

Судя по всему, в этих критических строках Гоголь задевал не одного Погодина. Можно предположить, что, обличая приятеля, Гоголь имел в виду и автора анонимной статьи «Вольтер», напечатанной в 1836 г. в третьем номере пушкинского «Современника». (В том же номере была напечатана повесть Гоголя «Нос», которую он несколькими месяцами ранее оставил Пушкину перед отъездом за границу.) Статья «Вольтер» принадлежит самому Пушкину, но так как она была опубликована в журнале без подписи, то Гоголь, возможно, не знал об авторстве поэта. Возражение Гоголя могло вызвать самое начало пушкинской статьи: «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов»¹.

Реакция Гоголя на подобные суждения многозначна. Прежде всего, она демонстрирует глубоко ценностный, требовательный подход писателя к слову — на это указывает название статьи «О том, что такое слово». Но критика Гоголя журналистской «всеядности» была бы не столь принципиальна, если бы за частными высказываниями досужих литераторов, останавливающих внимание на незначительных и пустых явлениях, писатель не усматривал вызревание куда более общей и насущной проблемы. Глубокий аналитик и «душевед», Гоголь критически оценивал не менее всеядный новейший «психологизм», завоевывающий все большее место в отечественной словесности. В этом модном «психологизме» вниманию читателей предлагались, без должной духовной оценки, уже не пустые и малозначащие стороны человеческой природы (вместо предполагаемых достойных и важных), но явления «соблазнительные», а подчас и прямо пагубные.

¹ <Пушкин А. С.> Вольтер. (Correspondance inedite de Voltaire avec le president de Brosses, etc. Paris 1836) // Современник, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. СПб.: В Гуттенберговой типографии, 1836. Т. 3. С. 158.

Создатели новейших «психологических» романов и повестей выискивали, а то и просто выдумывали неприглядные, «карикатурные» душевные движения человека. В отличие от глубокого гоголевского анализа, даже действительные «раны и болезни» общества [Гоголь 2009–2010. 6: 183] вскрывались в таких произведениях без надлежащего критического осмысления. В соблазнительных публичных «исповедях» современной Гоголю словесности, вроде «Исповеди» французского литератора Ж. Жанена, главное было — тешить любопытство или «смешить» читателей ради небескорыстного привлечения к себе их внимания — борьба за «рынок», за покупателей книг и журналов. Еще в 1836 г. Гоголь в черновых набросках статьи «О движении журнальной литературы...» восклицал: «Подражание французским оригиналам перешло всякие границы, так что если взять некоторые повести, то перед ними Женены будут [несравненно чище] чистые и невинные» [Гоголь 1952. 8: 541]. Обличая «торговое направление» отечественной словесности, набиравшее в то время силу, он замечал: «Что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это еще не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар и еще хвалится своею покупкою» [Гоголь 2009–2010. 7: 473].

В обществе, испытывающем во многих сферах активное французское влияние, подражание западной литературе было почти неизбежным. Глубокая самобытность позволяла Гоголю трезво оценивать последствия этого всеобщего увлечения. Еще об одном из ведущих представителей тогдашней «вулканической» французской словесности, писательнице Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван; 1804–1876), Гоголь писал: «Известная французская писательница, больше всех других наделенная талантами, в немного лет произвела сильней изменение в нравах, чем все писатели, заботившиеся о развращении людей. Она, может быть, и в помышлении не имела проповедовать разврат... <...> А слово уже брошено» [Гоголь 2009–2010. 6: 239].

Такую же оценку французской литературы представил друг Гоголя С. П. Шевырев в программной статье, напечатанной в первом номере журнала «Москвитянин»: «...Эта неистовая, <...> безобразная своим содержанием литература Франции есть <...> зеркало ее жизни. <...> Как ужасно должно быть будущее того народа, где литература мира действительного и литература мира фантазии наперерыв ведут перед очами его торопливую летопись всего, что только может безобразить

человечество! <...> Литература становится посредницей разврата...»¹. В этой связи Шевырев, в свою очередь, ставил перед словесностью такие же — «гоголевские» — задачи (возможно, в его рассуждениях лишь нашли отражение беседы с самим Гоголем). Так, говоря об итальянском писателе Сильвио Пеллико — авторе исповедальных, проникнутых религиозным чувством записок «Мои темницы», — Шевырев замечал: «...Жизнь его слишком свята для нашей эпохи и покажется вымыслом. Исповедь грешника в смысле нашего века была бы, конечно, занимательнее — и рассказанная с чувством, могла бы подействовать сильнее. <...> Если бы литераторы бичом грозной сатиры клеймили такую жизнь, свято было бы их звание...»².

В критике французской словесности Гоголь и Шевырев, несомненно, следовали за Пушкиным, который выступал против подражания французским «оригиналам» с начала 1820-х гг. до конца жизни³. В частности, в 1830 г. по поводу «Записок» Э. Видока⁴ и «Воспоминаний» А. Сансона⁵ он писал: «Сочинения шпиона Видока, палача Самсона <так> и проч. <...> нельзя их не признать крайним оскорблением общественного приличия»⁶; «Французские Журналы извещают нас о скором появлении *Записок Самсона, Парижского палача*. <...> Вот до чего довела нас жажда новизны и сильных впечатлений. <...> Журналы наполнились выписками из Видока. Поэт Гюго не постыдился в нем искать вдохновений для романа, исполненного огня и грязи»⁷.

В 1836 г. Пушкин в статье «Мнение М. А. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной», опубликованной в третьем

¹ Шевырев С. Взгляд Русского на современное образование Европы // Москвитянин. 1841. Ч. 1. №1. С. 262–264.

² Там же. С. 230, 262.

³ См. подробнее: [Виноградов 2019с: 46–66].

⁴ Mémoires de Vidocq, chef de la police de Sûreté, jusqu'en. Paris, 1828–1829. Т. 1–4.

⁵ Mémoires pour servir à l'histoire de la Révolution française, par Sanson. Paris, 1830. Т. 1–2.

⁶ <Пушкин А. С. О записках Видока>. В одном из № Лит<ературной> Газеты упоминали о Записках Парижского палача... // Литературная Газета. 1830. 6 апр. № 20. С. 162.

⁷ <Пушкин А. С. О записках Самсона>. Французские Журналы извещают нас о скором появлении *Записок Самсона*... // Литературная Газета. 1830. 21 янв. № 5. С. 39.

томе «Современника», подразумевая «неистовое» французское направление, писал: «...ужели весь <...> народ должен ответственность за произведения нескольких писателей, большую часть молодых людей, употребляющих во зло свои таланты и основывающих корыстные расчеты на любопытстве и нервной раздражительности читателей? Для удовлетворения публики, всегда требующей новизны и сильных впечатлений, многие писатели обратились к изображениям отвратительным, мало заботясь об изящном, об истине, о собственном убеждении»¹.

Против «исповедальности как ничем не ограниченной бесстыдной откровенности», «псевдоисповеди» выступал ранее и Н. М. Карамзин, полемизируя с Ж. Ж. Руссо, с его «Исповедью» [Луцевич].

В 1842 г. в повести «Рим» Гоголь еще раз замечал о французской литературе: «Странностью неслыханных страстей, уродливостью исключений из человеческой природы силились повести и романы овладеть читателем» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 186]. Позднее Гоголь, подразумевая подобные произведения, на последней странице своей записной книжки 1842–1851 гг. набросал следующую заметку «О театре»: «Искусство упало. Высокие доблести, величие духа, всё, что способно поднять, возвысить человека, являются редко. Всё или карикатура, придумываемая, чтобы быть смешной, или выдуманная чудовищная страсть, близкая к опьянению, которой автор старается из всех <сил> дать право гражд<анства>, составляют содержание нынешних пьес» [Гоголь 2009–2010. 9: 677].

Значительное место подобный модный «психологизм» и псевдо-исповедальность занимали в произведениях современной Гоголю так называемой «натуральной школы», ориентированной на французскую словесность (см.: [Виноградов 2018а: 67–70, 85, 103, 107]). Конкретно среди произведений этой школы Гоголь в 1849 и в 1852 гг. негативно отзывался о двух пьесах начинающего (впоследствии известного) драматурга и писателя И. С. Тургенева, «Нахлебник» и «Провинциалка» [Виноградов 2018а: 89–90]. Основания для критических отзывов о тургеневских драмах у Гоголя были. Сам Тургенев по поводу второй из

¹ <Пушкин А. С.> Мнение М. А. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной. (Читано им 18 Января 1836 г. в Императорской Российской Академии) // Современник, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. СПб.: В Гуттенберговой типографии, 1836. Т. 3. С. 97–98.

пьес спустя много лет признавался: «Для французов “Провинциалка” явится плоховатой копией с их оригиналов (что она и есть)...» [Тургенев: 9]. В «Провинциалке» выведена жена уездного чиновника, бесстыдно кокетничающая с влиятельным заезжим графом ради чаемого переезда, вместе с мужем, в Петербург. Драма «Нахлебник» основана на столь же «грязном» — тоже выдуманном сочинителем — случае: речь в пьесе идет о супружеской измене, совершенной в прошлом покойной матерью юной героини, вследствие чего та оказывалась дочерью жалкого и ничтожного шута — приживала и «нахлебника».

Размышления Гоголя о пагубном подражании отечественных литераторов модной французской литературе, несомненно, имеют глубокие духовные корни. Удручающая литературная «мода», когда «права гражданства» в произведениях начинающих авторов получают негативные душевные явления — «неслыханные», «уродливые», «чудовищные страсти», — вполне под стать тому явлению, которое подвергается строгому обличению в Священном Писании: «Горе глаголющим лукавое доброе, и доброе лукавое, полагающим т<ь>му свет, и свет т<ь>му, полагающим горькое сладкое, и сладкое горькое. <...> Сего ради якоже сторит трость от угля огненного <...>, цвет их яко прах взыдет: не восхотеша бо закона Господа Саваофа, но слово Святаго Израилева раздражиша» (Ис. 5: 20, 24). Поэтому свою задачу как писателя Гоголь, в числе прочего, видел в том, чтобы «выгнать из головы» читателя «всех тех героев, которых напустили туда модные писатели» [Гоголь 2009–2010. 6: 238].

4. Обольщение «пошлого человека» как предмет критики Гоголя

Согласно Гоголю, внутренний мир человека ни в каком случае не должен становиться предметом эстетического внимания и одобрения художника, образцом для подражания, если в нем «не дышит <...> святыня того, что должно быть свято» [Гоголь 2009–2010. 6: 21]. Эти проблемы Гоголь ставил в своих произведениях — художественных и публицистических — неоднократно.

Так, теме «оправдания» порока — и гибели художника, вставшего на такой путь, посвящена повесть Гоголя «Портрет». Ее сюжет писа-

тель наметил еще в 1832 г. в статье «Несколько слов о Пушкине» (указанная статья датирована 1832 г.; она опубликована в 1835 г., вместе с «Портретом», в сборнике «Арабески»). В судьбе художника Черткова, начавшего льстить в создаваемых им портретах самолюбию заказчиков, прямо угадываются строки статьи Гоголя о Пушкине: «Масса публики, представляющая в лице своем нацию, очень странна в своих желаниях; она кричит: “Изобрази нас так, как мы есть, в совершенной истине <...>”. Но попробуй поэт <...> изобразить все в совершенной истине <...> она тотчас заговорит: “<...> это нехорошо <...>”. Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказывающую художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий...» [Гоголь 2009–2010. 7: 276]. Эта мысль была повторена Гоголем в «Портрете»: «Дамы требовали <...> облегчить все изъянцы и даже, если можно, избежать их вовсе. <...> Мужчины тоже были ничем не лучше дам» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 89]. Именно так — идя на поводу публики, и поступает в повести художник Чертков: «Он бесстыдно воспользовался слабостью людей, которые за лишнюю черту красоты, прибавленную художником к их изображениям, готовы простить ему все недостатки» [Гоголь 2009–2010. 6: 296].

Очевидно, что уже в этих «ранних» произведениях, в статье о Пушкине и в «Портрете», Гоголь сформулировал для себя то противопоставление, которое изложил позднее в уже упоминавшемся в начале настоящей работы знаменитом сопоставлении романтического, «возвышенного» Шиллера, «окурившего упоительным куревом людские очи», и другого, отличающегося от него трезвым, обличающим взглядом писателя, который в своих произведениях изображает реальную жизнь, «всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров» (это противопоставление Гоголь изложил в заключении шестой — начале седьмой глав первого тома «Мертвых душ») [Гоголь 2009–2010. 5: 128–130].

Продолжая в последней главе первого тома поэмы свои размышления об участии писателя, «дерзнувшего» вывести правдивые образы «ничтожных своих собратий» [Гоголь 2009–2010. 5: 129], Гоголь замечал о «так называемых патриотах»: «...Они выбегут со всех углов <...> и подымут вдруг крики: “Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом?”» [Гоголь 2009–2010. 5: 236]. На это один из героев гоголевского «Театрального разезда...» «отвечает», что без «исповеди»

негативных явлений «возлететь душой превыше презренного в жизни» невозможно, пути к совершенствованию нет [Гоголь 2009–2010. 3/4: 450–451].

Следует, однако, констатировать, что духовная, «пастырская» критика Гоголя светского общества была, к сожалению, совершенно отвергнута его современниками, воспринявшими гоголевскую «сатиру» главным образом в политическом смысле. В XIX в. русская общественная мысль развивалась в основном под знаком декабризма, — а не по началам Православия, Самодержавия, Народности, как к тому призывало современников правительство. Вследствие этого «политизация» присутствующих в произведениях Гоголя духовных обличений была почти неизбежной в современной писателю либеральной среде, совершалась помимо его воли. Кстати сказать, такую же судьбу разделили в XIX–XX вв., вместе с гоголевскими произведениями, многие явления отечественной культуры. В 1847 г. в неотправленном письме к В. Г. Белинскому Гоголь упоминал о «нынешних ком<м>унистах и социалистах, [объясняющих, что Христос по]велел отнимать имущество и гра<бить> тех, [которые нажили себе состояние]» [Гоголь 2009–2010. 14: 388]. «Логику» радикальных интерпретаций духовного наследия наглядно изобразил позднее Ф. М. Достоевский в рассуждениях тринадцатилетнего мальчика в «Братьях Карамазовых»: «...Я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи Он в наше время, Он бы прямо примкнул к революционерам и может быть играл бы видную роль. <...> Это еще старик Белинский <...> говорил» [Достоевский: 500]. Использование духовного наследия в качестве тарана для разрушения неудобной по тем или иным причинам государственности — вместо настоящего его назначения — служить любви, смирению, единению — было свойственно в XIX в. не только западникам, но и славянофилам. В 1848 г. в письме к С. П. Шевыреву Гоголь замечал: «...Всё то, о чем <мы> так хлопочем и спорим, есть просто суета, как и всё в свете, и что об одной только *любви* следует нам заботиться. Она одна только есть истинно верная и доказанная *истина*» [Гоголь 2009–2010. 15: 50].

Гоголь неизменно отделял себя от так называемой «социальной сатиры», сатиры нарождающейся натуральной школы. Он писал: «Сатирой ничего не возьмешь; простой картиной действительности, оглянутой глазом современного светского человека, никого не разбу-

дишь...» [Гоголь 2009–2010. 6: 67]. Открывая суть своей собственной, религиозной или пастырской «сатиры», Гоголь продолжал: «Нет, отыщи в минувшем событии подобное настоящему, заставь его выступить ярко и порази его в виду всех, как поражено было оно гневом Божиим в свое время; бей в прошедшем настоящее, и в двойную силу облечется твое слово: живея через то выступит прошедшее и криком закричит настоящее. Разогни книгу Ветхого Завета: ты найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в чем оно преступило пред Богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся Страшный Суд Божий, что вострепетает настоящее» [Гоголь 2009–2010. 6: 67–68].

Перетолковывая гоголевское духовное обличение на свой радикально-политический лад, западники и либералы, порой, однако, все-таки угадывали отдельные черты его религиозной критики падшего человека и невольно «проговаривались» об этом.

Почти все представители западнической партии так или иначе делали себе имя на гоголевском наследии: повестями Гоголя прокладывал себе дорогу во Франции И. С. Тургенев, на сочинениях Пушкина, Гоголя и Лермонтова возрастал В. Г. Белинский; на мемуарах о Гоголе и пушкинской биографии завоевывал себе авторитет П. В. Анненков. Аналогичным образом — питаюсь «со стола» Гоголя — поднимался известный своими крайними взглядами критик послегоголевской эпохи Д. И. Писарев. В 1867 г., комментируя проблемы, поставленные Гоголем в «Портрете» и «Мертвых душах», Писарев подмечал: «Ноздревы, Чичиковы, Собакевичи <...> ищут себе <...> таких художников, которые, сохраняя им все их типические особенности, превратили бы их в милых, интересных и очаровательных героев романа: <...> Эй, поэты, воспойте нас <...>. За деньгами мы не постоим» [Писарев 1867b: 13–14]. Подразумевая содержание еще одной гоголевской повести — «Невского проспекта», Писарев не без иронии замечал: «Гёте, конечно, очень умен, очень объективен, очень пластичен и так далее; все это при нем и останется на вечные времена. Но своему отечеству Гёте сделал чрезвычайно много зла. Он, вместе с Шиллером, украсил, тоже на вечные времена, свиную голову немецкого филистерства лавровыми листьями бессмертной поэзии. Благодаря этим двум поэтам немецкий филистер имеет возможность мирить высшие эстетические наслаждения с самою бесцветною пошлостью... <...> Он читает своих великих поэтов, и вздыхает над ними, и умиляется, и заводит глаза, как откорм-

ленный кот, и остается безнадежным пошляком, и твердо уверен при этом, что он человек и что ничто человеческое ему не чуждо» [Писарев 1867а: 79–80].

5. Гоголь о самолюбии «пошлого» человека

Отмеченное критиком горделивое самолюбование падшего, утопающего в самодовольной пошлости человека — один из постоянных предметов гоголевской «сатиры». В частности, показательный пример «безнадежной» пошлости немецкого романтика-«филистера» рассказывал в 1849 г. сам Гоголь. «...Немец вообще не очень приятен, — говорил он, — но ничего нельзя себе представить неприятнее немца-ловеласа, немца-любезника, который хочет нравиться» [Виноградов 2017–2018. 6: 321]. И Гоголь рассказал, как встретил однажды «такого ловеласа в Германии». Этот немец-«ловелас» добился успеха у своей возлюбленной тем, что, по словам Гоголя, каждый вечер, раздевшись, бросался в пруд и плавал перед ее глазами, «обнявши двух лебедей, нарочно им для сего приготовленных». «Воображал ли он в этом что-то античное, мифологическое, — заканчивал рассказ Гоголь, — или рассчитывал на что-нибудь другое, только дело кончилось в его пользу: немка действительно пленилась этим ловеласом и вышла скоро за него замуж» [Виноградов 2017–2018. 6: 321].

Тема самодовольной жизни, сосредоточенной только на внешней, «красивой» оболочке, была поднята Гоголем еще в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». В частности, проявление этой темы можно встретить в строках самой первой повести этого цикла «Сорочинская ярмарка» — в описании красавицы, «когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полное гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осененную темною, упавшею с русой головы волною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам ее конца нет» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 89]. Тема эта тут же получила развитие в образах Параски в той же повести (эта героиня то и дело любит себя в «маленьком зеркале», «глядясь в него с тайным удовольствием»; [Гоголь 2009–2010. 1/2: 110]) и кокетки красавицы Оксаны в «Ночи перед Рождеством»: «По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед не-

большим <...> зеркалом и не могла налюбоваться собою. <...> Ах, как хороша! Чудо! <...> Тут <...> она <...> снова взглянула в зеркало <...>, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и осветилось в очах» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 172–173].

Впоследствии, продолжая преследовать и обличать в своих героях тщеславные, самодовольные стремления, Гоголь отметил в них не только «невинное» самолюбование и желание нравиться, но и попытки человека скрыть от себя и от других свои недостатки и пороки, а также неоправданные амбиции: показаться в глазах других значительней — «добродетельней» и «величественней», чем на самом деле.

Подобное лицемерное актерство свойственно, к примеру, в крайней степени, главному герою «Мертвых душ» — мошеннику Чичикову. В частности, оно проявляется в его показных рассуждениях о благочестии: «Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе, но уж извините: обязанность для меня дело священное, закон — я немею пред законом. <...> Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной, и сироте-горемыке!.. — Тут даже он отер платком выкатившуюся слезу» [Гоголь 2009–2010. 5: 35–37].

Как следует из приготовлений Чичикова к балу у губернатора (в восьмой главе поэмы), «актерские» навыки герой отработывал перед зеркалом: «Целый час был посвящен <...> на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то почтительное, но с некоторою улыбкою <...>; отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. <...> Наконец он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: “Ах ты мордашка эдакой!” — и стал одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во все время одевания: надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенною ловкостью...» [Гоголь 2009–2010. 5: 156]. Заботу о том, чтобы произвести на окружающих должное впечатление, создать для них нужный «образ», Чичиков проявлял неизменно и в других случаях: «Набросил шинель на медведях, не затем что на дворе было холодно, что чтобы внушить должный страх канцелярской мелузге» [Гоголь 1951. 6: 599].

Об искусно подобранных нарядах и тщательно отрепетированных улыбках Гоголь упоминал и в «Невском проспекте»: «Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдрут ниже травы и потупите голову...» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 10].

Уездная героиня Анна Андреевна в «Ревизоре», в свою очередь, в разговоре с дочерью признается: «Ты говоришь: “глазки”. Оно кажется легко. <...> Я вот тебе говорю, что я больше двух месяцев не отходила от зеркала, пока выучилась» [Гоголь 1951. 4: 174].

Понятно, что поведение всех этих героев прямо противоположно увещаниям Церкви о смирении, чистосердечии, сознании грехов и искреннем в них раскаянии. Под внешним, показным лоском остается духовная неразвитость и «бесчеловечье» даже в тех, кого «свет признает благородным и честным» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 119]. С данным выводом прямо связаны сетования рассказчика гоголевской «Шинели» о том, «как много сокрыто свирепой грубости в уточенной, образованной светскости» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 119].

Гоголевские герои продолжают лицемерить и на самой исповеди, проявляют привычные для них лукавую находчивость и изворотливость и в церковном таинстве. Так, рассказчик «Вечера накануне Ивана Купала», дьячок Фома Григорьевич замечает на этот счет: «...Вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым *провозить попа в решете* было легче, нежели нашему брату понюхать табак...» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 114] (к выделенным словам: «провозить попа в решете», — Гоголь сделал помету: «То есть солгать на исповеди»; [Гоголь 2009–2010. 1/2: 114]). Городничий в «Ревизоре», хвалящийся тем, что искусно обманул «трех губернаторов» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 299], в черновой редакции добавлял: «Что губернаторов? Попа на исповеди надул, рассказал совсем другое» [Гоголь 1951. 4: 354] (эта фраза была оставлена Гоголем в рукописи, вероятно, по той причине, что заведомо не могла быть пропущена цензурой).

В статье «Нужно проездиться по России», адресованной графу А. П. Толстому, Гоголь писал: «Вы можете оказать большую услугу духовенству тех городов, через которые будете проезжать, <...> введя их в познание тех вещей и проделок, о которых не говорит вовсе на исповеди нынешний человек, считая их долженствующими быть вне христианской жизни» [Гоголь 2009–2010. 6: 94].

6. Носители «пошлости» в изображении Гоголя

Среди упоминаний Гоголя об исповеди можно встретить слова, указывающие на то, что определенных достоинств жанра художественной, литературной (не церковной) «исповеди» он не отрицал. Так, в «Учебной книге словесности для русского юношества», характеризую жанр элегии, Гоголь писал: «Это сердечная история — то же, что дружеское откровенное письмо, в котором выказываются сами собою излучины и состояния внутренние души. <...> Ее бы можно было назвать дидактическим и описательным сочинением, если бы она не была изливанием умягченного и слишком нежного состояния души, подвинутого на тихую исповедь, которая не может излиться без душевной лирической теплоты. <...> Чаше всего носит она одежду меланхолическую, чаще всего в ней слышатся жалобы, потому что обыкновенно в такие минуты ищет сердце высказаться и бывает говорливо» [Гоголь 2009–2010. 6: 328–329].

Тем не менее, несмотря на в целом благожелательную (хотя и сдержанную) оценку «жалобной» элегической исповедальности (оценка эта свидетельствует об известной широте литературных взглядов писателя), в целом *исповедь* для Гоголя — это не просто «красивое» слово, удачное название для душевных излиятий лирического героя. Для писателя-сатирика, обличителя нравов, исповедь — это прежде всего то, что относится к покаянию, к исправлению — а не к любованию и поэтической медитации.

Гоголь был категорически против обесценивающей профанации церковных средств исправления человека — исповеди и проповеди. В повести «Рим», упоминая об итальянских «синьорах»-натурщицах, для которых исповедь превратилась в привычную формальную процедуру, он не без иронии писал: «Тут были всех родов модели: были такие, которые позволяли писать с себя одно только лицо, были такие, которые позволяли писать с себя грудь и плечи, в чем однако же калялись всякой раз на исповеди духовнику, и наконец такие, которые раздевались с ног до головы, в чем даже и не исповедывались»¹. Равным образом в статье «Русский помещик», не одобряя модной эстетизации проповеди, он советовал: «Народу нужно мало говорить, но метко, — не то он может привыкнуть к проповеди так же, как привыкнул к ней высший круг, ко-

¹ Цит. по первой публикации: [Бодрова: 10, 38].

торый ездит слушать знаменитых европейских проповедников таким же самым образом, как едет в оперу или в спектакль. У К** священник не говорит никакой проповеди, но <...> поджидает только исповеди. И на исповеди так проймет <...> всякого, что он как из бани выходит из церкви. З** послал к нему нарочно исповедовать <...> пьяниц и мошенников <...>, а сам стал на паперти церковной, чтобы посмотреть им в лица в то время, как они будут выходить из церкви: все вышли красные, как раки» [Гоголь 2009–2010. 6: 115].

Предмет церковной исповеди — борьба с грехом и «пошлостью», а не повод для создания художественных произведений, в которых эти недостойные явления могут найти себе «поэтическое» оправдание. Явления, обличаемые на исповеди, требуют изгнания, истребления, а не сочувственного изображения. В литературном отношении они, по своей негативной сути, могут быть разве что предметом карающего смеха, а изображенные сочувственным пером являются показателем духовной неразвитости или безответственности автора, могущего легко ввести в заблуждение неискушенных и бездумных читателей.

Эта особенность христианского взгляда Гоголя на проблемы душевного характера и позволяет развеять ошибочные представления о его творчестве, которые продемонстрировал в начале XX в. в своих работах С. А. Венгеров. Заявление исследователя о том, что Гоголя, в отличие от других писателей, не интересует «сфера интимных настроений человека», объясняется очевидным непониманием сути гоголевского отношения к указанным явлениям. Не окрашенные привычным для начала XX в. сочувственным одобрением, они попросту не узнаются Венгеровым в произведениях Гоголя. Между тем, как уже отмечалось, на протяжении всего творчества эти душевные движения являлись предметом самого пристального внимания и самого тщательного анализа писателя.

Исключительное, непреходящее внимание Гоголя как писателя к внутреннему состоянию души и, одновременно, его неизменную мысль о должной оценке этих состояний легко продемонстрировать на примере самых известных его произведений. Их рассмотрение показывает, насколько «пошлыми» являются, согласно Гоголю, некоторые из «поэтических» и «привлекательных» для обыденного сознания явлений, которые будто бы только игнорировались и не замечались писателем в окружающей жизни.

Оценка семейной жизни (эту тему Венгеров проглядел в гоголевских произведениях) занимает в «душеведении» писателя одно из важнейших мест. В отдельной заметке <О браке> в записной книжке 1846–1850 гг. Гоголь писал: «Союз освящается Христом. Стало быть, свыше всех целей есть идти к Тому, Кто освятил этот союз» [Гоголь 2009–2010. 9: 711]. Подобно тому, как Гоголь оценивал и все другие явления жизни, так же в соотнесении с вечностью он рассматривал и брак. Согласно убеждениям писателя, если брак не освящен высокой, духовной целью, он, по сути, мало чем отличается от того предосудительного поведения, какое, к примеру, обнаруживают гоголевские герои в своих прогулках по вечернему Невскому проспекту. Недвусмысленную реплику на этот счет — о низменной сути подобного брака — Гоголь оставил в черновой редакции «Женитьбы»: «Коли то-есть женатый человек, уж совсем другой пример. <...> ...Вечером уж не таскаешься по Невскому или по Мещанской, потому что знаешь, что в доме то-есть сожительница есть» [Гоголь 1949. 5: 326–327]. В черновом наброске <Дождь был продолжительный> (1833) Гоголь упоминал и о «сыромютной жизни» этой «сожительницы» [Гоголь 2009–2010. 7: 125].

Столь же определенно предметом постоянного внимания Гоголя является и сама любовь — «область личных радостей и разочарований» (выражение Венгерова, отрицавшего интерес писателя к этой теме). Чтобы нагляднее обозначить ошибку исследователя, следует обратить внимание на то, каким особенным образом эта тема преломляется у Гоголя.

Нельзя не признать достаточно обстоятельным освещением любовной темы представленный в «Тарасе Бульбе» яркий «исповедальный», полный детального художественного «психологизма» подробный монолог Андрия, признающего в любви к польской панночке, — его «открытую, сердечную речь» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 355], «излияние <...> нежного состояния души» [Гоголь 2009–2010. 6: 328]. Как указывал протопресвитер Василий Зеньковский, в описании «психологического перелома у Андрия Гоголь является первоклассным психологом» [Зеньковский: 40]. Следует при этом отметить, что, как бы «вопреки» взгляду обличителя-сатирика, — будто бы видящего в жизни лишь «пошлые» явления, — любовные захватывающие чувства демонстрирует у Гоголя герой отнюдь не «бесцветный», не заурядный, но один из лучших, «храбрый» из сынов Украины [Гоголь 2009–2010. 1/2: 358],

персонаж, наделенный, подобно художнику «Портрета», всеми возможными дарами и талантами. Трагедия, по Гоголю, заключается в том, что все эти выдающиеся способности Андрия оказываются напрасными: из-за любовной страсти герой, вставший на путь предательства, оканчивает жизнь с «нулевым» результатом. В этом отношении «двойником» героя является художник *Ноль* из той же повести «Портрет» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 83] или такой же «*нуль*» [Гоголь 2009–2010. 5: 197], буйный капитан *Копейкин* из «Мертвых душ» — прямое подобие наиболее отчаянных, мятежных запорожцев, вроде Андрия, «которым нечего было терять, которым жизнь — *копейка*» [Гоголь 2009–2010. 7: 166].

Вследствие трезвой гоголевской оценки вдохновенный, лирический монолог влюбленного Андрия легко превращается, под пером писателя, в комическое, «сатирическое» изложение «возвышенных» чувств столь же «нулевого» и «копеечного» пустышки Хлестакова в «Ревизоре».

Об Андрии рассказчик замечает: «...Он летел всеми чувствами видеть ту, за счастье которой он готов был отдать всю жизнь» [Гоголь 2009–2010. 7: 220]. Герой «Ревизора», Хлестаков, «подхватывает» за казацким «рыцарем»: «...Согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 293].

Андрий восклицает: «Что бы тогда за любовь моя была, когда бы я бросил для тебя только то, что легко бросить» [Гоголь 2009–2010. 7: 221]. — «Я решительный человек, — вторит» ему Хлестаков, — мне жизнь — *копейка*» [Гоголь 2009–2010. 7: 437].

«...Отчизну, все, что ни есть на земле, — все отдаю за тебя...» — «исповедуется» Андрий [Гоголь 2009–2010. 7: 221]. — «А ваши глазки, судары<ня>, — расшаркивается Хлестаков, — <...> лучше, чем важные дела» [Гоголь 1951. 4: 233].

Андрий обращается к панночке: «Царица! <...> ...Что мне <...> отчизна?»; «Я умру возле тебя» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 355, 357; 7: 221]. Хлестаков говорит то же самое, другими словами, Марье Антоновне и Анне Андреевне: «...Мне за вас порфиры не нужно» [Гоголь 1951. 4: 330]; «...Мне все равно, что хоть она и не княжна... <...> ...если <...> не отдадите мне Машиньки, то <...> я уже нигде счастья не найду» [Гоголь 1951. 4: 220].

«Пошлость пошлого человека» [Гоголь 2009–2010. 6: 81] оказывается таковой не потому, что «высокие», «трогательные» чувства, пережи-

ваемые героем «Тараса Бульбы», были «переданы» Гоголем персонажу мелкому и ничтожному — «приглуловатому» Хлестакову. Словам героя о «порфире», от которой он готов отказаться ради любви, к примеру, «вторит» не кто иной, как сам Н. М. Карамзин, в стихотворении «Доволен я судьбою...», которое Гоголь цитировал в «Мертвых душах» [Гоголь 2009–2010. 5: 155]. «Я был бы и в порфире / Нещастлив без тебя», — восклицает Карамзин¹.

Указанные параллели открывают, что «пошлость» была и в «вдохновенном» Андрее — а также в бесчисленных других героях-любовниках, выведенных в популярных произведениях догоголевского и гоголевского времени. (Впоследствии поток таких произведений не уменьшился, а только возрос). Проблема заключается в том, что отчета в «пошлости» своих переживаний ни глупый Хлестаков, ни более рассудительный (хотя все-таки не «мудрый») Андрей (ни также лейтенант Жевакин в «Женитьбе», с восторгом вспоминающий об итальянских «красоточках») себе не отдают.

Однако главное обстоятельство, вызывающее тревогу, заключается даже не в этом, не в проблемах вымышленных героев. Их «заблуждения» были бы, по Гоголю, еще простительными, если бы сомнительные «романтические» увлечения не разделяли вслед за расхожими литературными героями-любовниками многочисленные читатели соответствующих произведений.

Откровенно «пошлыми» изображены Гоголем любовные похождения в «Невском проспекте» поручика Пирогова. Однако автор представляет читателю — православному человеку — догадываться самому, насколько не менее пагубными являются романтические чувства к красавице внешне «не-пошлого», поэтически «возвышенного» художника Пискарева. Для такого несложного вывода достаточно задуматься над тем, как эти чувства доводят талантливого юношу до самоубийства, т. е. до гибели самой души. То, что на другом поприще и в другой форме случается с Андреем, обещавшим панночке умереть от любви; то, что ветрено обещает «даме сердца» Хлестаков: «Руки, руки прошу! <...> Застрелюсь, напропалую застрелюсь!» [Гоголь 2009–2010. 7: 437]; буквально происходит с Пискаревым в «Невском проспекте». (О самоубийстве от любви помышлял уже герой гоголевской «Ночи перед

¹ <Карамзин Н. М.> Соч. Карамзина. М.: В Типографии С. Селивановского, 1814. С. 102.

Рождеством», кузнец Вакула, хотя читатель обычно почему-то «не обращает» на это внимания).

К «покаянному», исповедальному (в церковном смысле) жанру повесть «Невский проспект» тоже имеет прямое отношение. Более того, наблюдение о «покаянном», религиозном подтексте «Невского проспекта» подтверждается еще одним важным обстоятельством, указывающим на близость печальной истории о самоубийце Пискареве к жанру исповеди. История создания «Невского проспекта» свидетельствует о том, что призыв не повторять ошибок и недостойного поведения героев этой повести — «пошлого» Пирогова и «возвышенного» Пискарева, — коренится в особом, глубоко «исповедальном» авторском замысле произведения — относится к «делу, взятому из души» [Гоголь 2009–2010. 6: 83].

Рассказ о гибели живописца Пискарева является, судя по всему, реальной «исповедью» самого Гоголя. «Невский проспект» представляет отражение душевной истории и биографии самого создателя повести, влюбившегося в 1829 г., вскоре по приезде из Нежина в столичный Петербург, в неведомую красавицу. Описание терзаний, приведших к самоубийству художника Пискарева, прямо повторяет рассказ Гоголя в письме к матери от 24 июля 1829 г. о пережитых им страданиях от встречи с петербургской незнакомкой. Герой «Невского проспекта» восклицает о встреченной красавице: «...Как утратить это божество... <...> ...О, я не могу жить, не взглянувши на нее!..» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 15, 22]. Гоголь пишет матери: «Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. <...> Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. <...> В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний, я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я... <...> Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь» [Гоголь 2009–2010. 10: 111–112].

Эта история имела продолжение. Спустя неделю Гоголь отправил матери новое письмо, где объяснял свой тогдашний внезапный отъезд за границу тем, что врачи предписали ему там лечиться: «...у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи...» [Гоголь 2009–2010. 10: 116]. Мать, сопоставив письма, сделала неожиданный вывод, что причиной болезни сына стала встреча с женщиной. Гоголь же, получив письмо матери, пришел в ужас от одного этого предположения: «...Как! вы могли, маминька,

подумать даже, что я <...> нахожусь на последней степени унижения человечества! <...> Но я готов дать ответ пред лицом Бога, если я учинил хоть один развратный подвиг...» [Гоголь 2009–2010. 10: 121]. Тем не менее сама возможность представленного в «догадке» матери случая и то потрясение, которое пережил тогда Гоголь от одного этого предположения, — обладавший недюжинным, «страшным» воображением (созерцавший во время творческого процесса описываемые явления с «неестественною ясностью» [Виноградов 2017–2018. 6: 161, 285]), — судя по всему, дала писателю впоследствии материал для еще одного произведения — повести «Нос». (В конце жизни Гоголь на вопрос штаб-лекаря А. Т. Тарасенкова, как, не читая «подлинных записок» психопатов, он сумел, «так верно приблизившись к естественности», написать «Записки сумасшедшего», отвечал: «Это легко: стоит представить себе...» [Виноградов 2017–2018. 7: 233].)

Среди перечисленных гоголевских «поэтов пошлости» — Андрия, Хлестакова, Жевакина, Пискарева, Пирогова — есть еще один «романтик», который тоже не отдает себе отчета в своих далеко не «возвышенных» душевных движениях, — это «поэт наживы» торговец Янкель в «Тарасе Бульбе». Вот как «вдохновенно» восхищается он роскошным нарядом предателя Андрия: «...И везде золото, и все золото; так, как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет и всякая травка пахнет, так и он весь сияет в золоте» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 362].

Как любовная страсть Андрия, приверженность Янкеля к богатству тоже настолько сильна и всепоглощающа, что чревата пагубным отчаянием. Об этом сам герой сообщает в разговоре с Тарасом Бульбой: «...я думаю, тот человек, у которого пан обобрал такие хорошие червонцы, и часу не прожил на свете, пошел тот же час в реку, да и утонул там после таких славных червонцев» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 395]. Очевидно, что торговец Янкель занимает «законное» место среди гоголевских героев, страстные увлечения которых стали жизненным нервом их существования. Между мелким и жалким торговцем и «возвышенными» героями-любовниками нет, по Гоголю, в духовном отношении никакого отличия, и только разный характер изложения чувственных помыслов — либо со стороны увлеченного, погруженного в них героя, либо со стороны трезвого, обличающего автора — отделяет корыстолюбивого шинкаря Янкеля от «благородных» шиллеровских мечтателей Андрия

и Пискарева. Дополнительным подтверждением этого тезиса служит характеристика еще одного известного гоголевского героя.

Сами по себе чрезвычайно показательны стремления, которые неожиданно открываются в другом бедном — подобном «бедному Пискареву» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 18, 28] — художнике, изображенном Гоголем. Черты, сродные торговцу Янкелю, явно и недвусмысленно проступают в «бедном живописце» Чарткове в «Портрете» в тот момент, когда тот оказывается, наконец, счастливым обладателем заветного свертка «червонцев» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 78–79]: «Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. <...> Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в... и прочее, — и он, схвативши деньги, был уже на улице» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 80–81]. Многозначительное отточие в этом отрывке с очевидностью указывает на все те же соблазны петербургских улиц — Невского проспекта, Литейной, Мещанской, напоминая о судьбе погибшего художника Пискарева. Между неприглядным корыстолюбием мелкого торгаша и «красивым» увлечением одаренного художника обнаруживается прямая связь: оба они одинаково охвачены самоубийственной страстью. Более того, в сравнении с «электричеством» «капитала» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 442] испепеляющее любовное чувство для молодости оказывается даже опасней. Много лет спустя, в 1851 г., один из московских знакомых Гоголя Д. Н. Свербеев привел к писателю «под благословение» своего юного племянника, пятнадцатилетнего князя А-ра П. Щербатова, отправлявшегося в Петербург. После встречи Свербеев в письме к жене, Е. А. Свербеевой (рожд. княжне Щербатовой), сообщал: «Гоголь удивил меня своей пронизательностью. Советовал Саше, когда он будет в Петербурге, еще более беречь здоровье, нежели деньги, а он таков, что может промотать и то и другое» [Виноградов 2017–2018. 7: 207].

Пережитое в 1829 г. (и, по-видимому, отразившееся в сожженном впоследствии дневнике) стало для Гоголя непосредственным «исповедальным» материалом для художественного воплощения в герое «Невского проспекта», художнике Пискареве. При этом, как и следовало для христианской исповеди (характер которой Гоголь сумел сохранить даже в литературном произведении), повесть не стала для него не-

ким «самооправданием» пережитых чувств, элегической «жалобой» на судьбу [Гоголь 2009–2010. 6: 329]. Погубивший себя Пискарев, так же, как и обесценивший, превративший свою жизнь в «копейку» Андрий, являют собой, при всех несомненных, нерядовых талантах этих персонажей, при определенном сочувствии к ним автора, *негативные* примеры. Впервые же подобный пример — «фрагмент» своей исповеди — Гоголь представил в 1831 г., задолго до создания «Невского проспекта», в несостоявшемся самоубийстве кузнеца-«художника» Вакулы.

7. Содержание дневника и исповеди как материал для сатиры

Неудивительно, что не только для откровенно «пошлых» персонажей, но и для характеристики самого «возвышенного» героя, самого поэта, можно найти у Гоголя строки, передающие, увы, далеко не высокий полет «поэтического» вдохновения: «Скучно, братец, так жить, ищешь пищи для души, а светская чернь тебя не понимает» [Гоголь 1951. 4: 352, 456]; «...Я требую [духовной] пищи, той, которая бы питала и услаждала мою душу...» [Гоголь 1938. 3: 204, 563]; «Что жизнь наша? Долина, где поселились горести. Что свет? Толпа людей, которая не чувствует» [Гоголь 2009–2010. 5: 155]; «...и Карамзин сказал: “Законы осуждают”. Мы удалимся под сень струй...» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 282]. Выдержанные «в духе тогдашнего времени» [Гоголь 2009–2010. 5: 155], а то и просто взятые из популярных литературных сборников той поры: «Душеньки часок не видя, <...> Лъзя ли жить мне, я сказал» («Песня» Н. П. Николева [Гоголь 2009–2010. 3/4: 161]); «Две горлицы покажут / Тебе мой хладный прах...» (стихотворение Карамзина «Доволен я судьбою...», о котором выше уже говорилось [Гоголь 2009–2010. 5: 155]), — все эти поэтические реплики героев «Ревизора», «Мертвых душ», «Записок сумасшедшего» — «излияния <...> слишком нежного состояния души» [Гоголь 2009–2010. 6: 328], — содержат в себе не только насмешку над читателем, невольно искажающим «утонченный» пафос творческой музыки, но являются обличением очевидной «пошлости» самих этих «лирических» высказываний. Это касается не только безобидных излияний из разряда невинно-«буколического» — того, что «Шатобрианом пахнет», в гоголевском драматическом «Отрывке»:

«Я для вас, душинька, вышила подвязку» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 435]. В гораздо большей степени гоголевская критика поражает бывшие на слуху современников литературные произведения, в которых поэтические «истины» являются откровенно негативными, пагубными, к примеру, в «послании в стихах Вертера к Шарлотте», читаемом Чичиковым в седьмой главе поэмы [Гоголь 2009–2010. 5: 147], т. е. в предсмертном письме героя романа И. В. фон Гете «Страдание юного Вертера», которое тот написал возлюбленной накануне самоубийства.

Сама жизнь, ее «козни» и искушения, обнаруживающие падшесть человеческой природы, в том числе «неидеальность» собственного «я», низводят, «сдергивают» самообольщающегося, «возвышенного» поэта с его мнимой «высоты». Уроком оторвавшегося от земли и правды писателя служит «печальная» действительность: «Изредка доходили до слуха его какие-то, казалось, женские восклицания: “Врешь, пьяница! я никогда не позволяла ему такого грубиянства!” <...> Словом, те слова, которые вдруг обдадут, как варом, какого-нибудь замечтавшегося двадцатилетнего юношу, когда, возвращаясь из театра, несет он в голове испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и кудрями. Чего нет и что не грезится в голове его? он в небесах и к Шиллеру заехал в гости — и вдруг раздаются над ним, как гром, роковые слова...» [Гоголь 2009–2010. 5: 127–128]. Источником для этого значимого отступления в «Мертвых душах» послужили Гоголю черты его школьного товарища, известного впоследствии романтического писателя Н. В. Кукольника, к которому сам Гоголь относился иронически, дав ему, еще в школьные годы, кличку «Возвышенный» (см.: [Виноградов 2017–2018. 1: 603–604]). В 1833 г., подразумевая увлечение Кукольника шиллеровскими «возвышенными» драмами и игрой на гитаре, Гоголь писал из Петербурга однокашнику А. С. Данилевскому: «Весна! как странно для меня звучит это имя. Я его точно так же повторяю, как Кукольник (NB который находится опять здесь и успел уже написать 7 трагедий) повторял, помнишь — Поза, Поза, Поза (маркиз Поза — герой «Дон Карлоса» Шиллера, испанец, возвышенный мечтатель. — И. В.). Кстати о Возвышенном, он нестерпимо скучен сделался. Тогда было соберет около себя толпу и <...> движет эту толпу за собою испанскими звуками гитары. Теперь совсем не то» [Гоголь 2009–2010. 10: 210].

В быту «возвышенный» Кукольник высокой нравственностью, увы, не отличался. Еще в школе он зарекомендовал себя как изряд-

ный «гуляка» [Виноградов 2017–2018. 1: 604]. В 1842 г., вскоре после издания «Мертвых душ», Гоголь в разговоре с петербургским чиновником П. К. Сильчевским, увлеченным почитателем Кукольника (а также еще одного гоголевского школьного приятеля, писателя-романтика Е. П. Гребенки), по свидетельству мемуариста, «покрутил носом» с какой-то забавно-презрительной миной и проговорил: “Ну, это все пустой народ...”» [Виноградов 2017–2018. 4: 128].

По гоголевской, проникнутой христианским сознанием оценке, «эстетическое» погружение павшего человека, даже поэта и художника, в его «исповедальных», дневниковых записях во всевозможные «красивые» извивы и «тонкости» своего душевного состояния в лучшем случае может претендовать лишь на поучительную историю *гибели* талантливого художника, выведенного в «Невском проспекте». В подобной же значительной, если не в большей степени, такой дневник может стать психологическим материалом для назидательного произведения, еще более беспощадно и разительно *разоблачающего* «пошлую» суть героя — для «Записок сумасшедшего» — «Записок сумасшедшего мученика» (как первоначально предполагал Гоголь назвать эту повесть) [Виноградов 2018с: 33–41], «Клочков из записок сумасшедшего» (как было названо это произведение при первом его публикации в сборнике «Арабески» 1835 г.)¹. За исключением этого «дидактического» и «сатирического» употребления жанра душевного дневника — в качестве поучительной *отрицательной* психологической характеристики героя — Гоголь, по-видимому, не рассматривал, да и не мог, вследствие трезвой самооценки, рассматривать такой дневник, свой или чужой, в ином — положительном качестве: категорически «не способен» был видеть в явлениях, подлежащих покаянию и исповеди, материал для художественного изображения «образцового» внутреннего мира персонажа — как отражение опыта, достойного подражания. По-видимому, это и стало причиной уничтожения Гоголем собственного дневника: как указывалось, свои душевные движения писатель тоже не считал «полезными» для других [Виноградов 2017–2018. 7: 43] — потому и сжег записи.

В изучении роли исповеди и дневника в наследии Гоголя, конечно, не рассматриваются все разновидности дневникового жанра (как та-

¹ <Гоголь Н. В.> Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб.: В Типографии вдовы Плюшар с сыном, 1835. Ч. 2. С. 233.

кового). Обращается внимание лишь на значимые для художника-сатирика записки исповедального характера. Соответственно в поле исследования оказывается прежде всего «негативное», подлежащее сатирическому обличению содержание личного дневника — авторское отражение «неидеальных» душевных состояний его создателя. Но, разумеется, у Гоголя можно найти и примеры «положительного» использования материалов дневника или исповеди. Так, по сути, полной исповедью, последовательным «исповеданием» религиозно-политических взглядов писателя являются его знаменитая повесть-эпопея «Тарас Бульба» или известная патриотическая книга «Выбранные места из переписки с друзьями», содержание которой сам Гоголь прямо называл «исповедью человека, который провел несколько лет внутри себя» [Гоголь 2009–2010. 6: 219].

Другим показательным примером отражения «исповедального» содержания как благотворного и положительного может рассматриваться эссе Гоголя «Ночи на вилле», создававшееся в 1839 г. в качестве утешения для семьи Виельгорских. Это сочинение посвящено последним дням жизни покойного сына Виельгорских и написано непосредственно в жанре дневника. Содержание «Ночей на вилле» вполне подпадает под упомянутую гоголевскую характеристику меланхолической «исповеди»-элегии, в которой «чаще всего <...> слышатся жалобы» [Гоголь 2009–2010. 6: 328–329].

Однако между двумя указанными примерами употребления Гоголем «исповедального» материала как позитивного есть и существенная разница. В отличие от очевидного соответствия содержания «Тараса Бульбы» и «Выбранных мест...» заветным убеждениям автора, «исповедальность» «Ночей на вилле» является в значительной мере условной. Едва ли не тот стиль, в котором Гоголь попытался написать ранее «Ночи на вилле», он позднее откровенно высмеял в «Мертвых душах», где цитировал уже упоминавшееся карамзинское стихотворение «Доволен я судьбою...»: «...окончание письма отзывалось даже решительным отчаяньем и заключалось такими стихами: “<...> она умерла во слезах”» [Гоголь 2009–2010. 5: 155; у Карамзина стих читается иначе: «Он умер во слезах!»¹]. Даже перед лицом смерти Гоголь не утрачивал трезвой христианской оценки душевных переживаний. В 1841 г., получив известие о кончине сына Аксаковых

¹ <Карамзин Н. М.> Соч. Карамзина. С. 102.

Михаила, он писал: «Ужасно жалко мне Аксаковых, не потому только, что у них умер сын, но потому, что безграничная привязанность до упоения к чему бы ни было в жизни есть уже несчастье. <...> Мы ропщем только на утраты и никогда не благодарим за блага, которые даются нам щедро... <...> Неблагодарен человек» [Гоголь 2009–2010. 11: 346]. Словом, «исповедальными» «дневниковые» «Ночи на вилле» выглядят лишь на первый взгляд. Это незавершенное произведение создавалось с определенной, вполне понятной целью. Главным мотивом его появления было стремление утолить горе безутешной матери Виельгорского. Только крайнее отчаяние великосветской дамы побудило Гоголя к «элегическому» соучастию в ее утрате. Если бы не это, то «утешить» Виельгорских Гоголь мог бы иначе. Трезвый взгляд на неумеренную скорбь (в отличие от авторов элегических «жалоб») был свойственен писателю всегда. Так, перед отъездом за границу в 1836 г. он навестил княгиню А. И. Васильчикову, находившуюся в трауре по случаю кончины матери, и, «чтобы развлечь ее», рассказал историю про одного отца, мучительно переживавшего предсмертную болезнь сына — наконец скончавшегося. «Что же бедный отец?» — в волнении спросила Гоголя Васильчикова. «Да что ж ему делать, — отвечал хладнокровно Гоголь, — растопырил руки, пожал плечами, покачал головой, да и свистнул: фю, фю»¹. По воспоминаниям присутствовавших при этой сцене, Васильчикова «страшно рассердилась такому неуместному утешению» [Виноградов 2017–2018. 2: 563].

Таким образом, несмотря на очевидное сочувствие Гоголя к «элегическому» исповедальному жанру, «Ночи на вилле», создававшиеся в этом роде, находятся на периферии его творчества. Они носят вполне очевидный «узкий», адресный характер. Сам Гоголь к печати это произведение не предназначал.

¹ В беседе с Васильчиковой Гоголь повторил финальное восклицание только что законченной тогда первоначальной редакции комедии «Женитьба»: «Агаф<ья> Александровна. Как! улизнул в окно! Фю, фю! (Слегка посвистывает, как обыкновенно делается в случае несбывшихся надежд. Занавес опускается)» [Гоголь 1949. 5: 333].

8. Внутренний мир «пошлого» человека: недопустимость поэтизации

Фактической заменой сожженного дневника стали («к счастью» для последующих многочисленных читателей и исследователей), наряду с художественными и публицистическими произведениями Гоголя, его сохранившиеся письма. Но и из них писатель считал достойными для публикации немногие. Таким же взыскательным контролем по отношению к себе объясняется и категорический «запрет» Гоголя издавать что-либо из его рукописей после его смерти, кроме того, что уже им было напечатано. В «Завещании», помещенном в «Выбранных местах из переписки с друзьями», он писал: «Объявляю <...> во всеуслышанье, что, кроме доселе напечатанного, ничего не существует из моих произведений: все, что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное и мертвое, писанное в болезненном и принужденном состоянии. А потому, если бы кто-нибудь стал выдавать что-либо под моим именем, прошу считать это презренным подлогом. Но возлагаю вместо того обязанность на друзей моих собрать все мои письма, писанные к кому-либо, начиная с конца 1844 года, и, сделавши из них строгий выбор только того, что может доставить какую-нибудь пользу душе, а все прочее, служащее для пустого развлечения, отвергнувши, издать отдельною книгою» [Гоголь 2009–2010. 6: 12]. В VI пункте «Завещания» (содержащем распоряжения по делам семейственным), не включенном Гоголем в книгу и отправленном в частном письме к матери, он обращался к родным: «Прошу как мать, так и сестер моих перечесать сызнова после моей смерти все мои письма к ним, писанные в последние три года, особенно не исключая тех, которые, по-видимому, относятся к одному хозяйству: многое поймется по смерти моей лучше» [Гоголь 2009–2010. 6: 555].

Размышляя о недопустимом подражании тому, чему подражать не следует, — даже если эти увлечения носят самый выразительный и «упоительный» («окурительный»), т. е. самый «тонкий» и «выигрышный» для художественного воплощения характер, — Гоголь в 1844 г. в письме к С. П. Шевыреву замечал: «...Молодежь глупа. У многих из них бывают чистые стремления; но у них всегда бывает потребность создать себе каких-нибудь идолов» [Гоголь 2009–2010. 12: 530]. Объясняя в этом письме причины своего недовольства публикацией

в «Москвитянине» его портрета М. П. Погодиным, Гоголь добавлял: «Если в эти идолы попадет человек, имеющий точно достоинства, это бывает для них еще хуже. Достоинств самих они не узнают и не оценят как следует, подражать им не будут, а на недостатки и пороки прежде всего бросятся: им же подражать так легко! Поверь, что прежде всегда будут подражать мне в пустых и глупых вещах» [Гоголь 2009–2010. 12: 530].

«...Вместо того, — продолжал Гоголь, — чаще будем изображать им настоящий Образец человека, Который есть совершеннейшее из всего, что увидел слабыми глазами своими мир, и перед Которым побледнеют сами собою даже лучшие из нас...» [Гоголь 2009–2010. 12: 531]. «...Еще лучше, — размышлял далее Гоголь, — если мы даже и говорить им не будем о Нем, о Совершеннейшем, но заключим Его сами в душе своей...» [Гоголь 2009–2010. 12: 531].

Примечательно также признание Гоголя в письме к меценату П. Н. Демидову начала 1839 г.: «...Я убегал старательно встречи с вами. Мне не хотелось, чтобы вы переменили обо мне ваше доброе мнение. Мы обыкновенно воображаем видеть писателя чем-то более... чем он есть, и увидевши пошлую, даже слишком обыкновенную его фигуру, мы никак не можем соединить с ней то лицо, которое нам представлялось в мыслях. Вот почему мне не хотелось, чтобы вы меня когда-либо увидели, хотя очень хотел вас увидеть» [Гоголь 2009–2010. 11: 210–211].

В еще одной выписке упомянутого сборника «Выбранные места из творений св. Отцов и учителей Церкви» Гоголь отмечал: «Каждый человек — грешник, следовательно, ему признаться в том, что он грешник, значит признаться только в том, что он человек» [Гоголь 2009–2010. 9: 100]. Апология, самооправдание и поэтизация человека-грешника для Гоголя, при его трезвом взгляде на человеческую природу, были невозможны. «Окурить упоительным куревом людские очи», «чудно польстить им, <...> показав <...> прекрасного человека» [Гоголь 2009–2010. 5: 129] (вместо человека реального — падшего), Гоголь, по христианскому взгляду на окружающих — и самого себя, не мог. В черновике, предваряющем появление слов об «упоительном куреве», он записал: «Оттолкни прочь раболепную просьбу, жажду людей самозабвения. Не окуривай головы; прочь желание лести человеческой гордости» [Гоголь 1951. 6: 440]. В «Авторской исповеди» Гоголь добавлял: «Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображе-

ния, и пришел к Тому, Кто есть источник жизни. От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движеньях его, которые пропускаются без вниманья людьми, — и я пришел к Тому, Который один полный ведатель души и от Кого одного я мог только узнать полнее душу» [Гоголь 2009–2010. 6: 228].

Здесь следует предварить возможные нарекания в адрес Гоголя. Легко упрекнуть писателя (сам он это хорошо понимал) в том, что душа его была не так «чиста», не так подготовлена, чтобы, черпая из нее, художник мог создать полноценные, психологически убедительные положительные образы. Заранее отвечая на подобные упреки, Гоголь по поводу других, отрицательных героев, вышедших из его души, в одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”» писал: «Не думай, однако же, после этой исповеди, чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними, и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог» [Гоголь 2009–2010. 6: 85].

Далее в том же письме следует опять напоминание об исповеди: «И когда поверяю себя на исповеди перед Тем, Кто повелел мне быть в мире и освободиться от моих недостатков, вижу много в себе пороков; но они уже не те, которые были в прошлом году: святая сила помогла мне от тех оторваться» [Гоголь 2009–2010. 6: 85].

А. С. Пушкин, как известно, был в этом отношении еще более апологетичен. В 1825 г. он писал князю П. А. Вяземскому: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе» [Пушкин: 243–244]. Соблазн поставить на одну доску с классиком его современников, литераторов и критиков «второго» и «третьего» ряда, подстерегает любого читателя и исследователя.

«Достоинства» души Гоголя как нельзя лучше показывают его собственные произведения, в том числе с образами положительных героев. Чья душа была готова к тому, чтобы написать самую патриотическую во всей нашей литературе повесть — казацкую эпопею «Тарас Бульба», или такую же — самую патриотическую в русской словесно-

сти книгу — «Выбранные места из переписки с друзьями» [Виноградов 2017с], — в дополнительных «рекомендациях» и оправданиях не нуждается.

В заключение статьи Гоголь обращался к приятелю: «А тебе советую не пропустить мимо ушей этих слов, но по прочтенье моего письма остаться одному на несколько минут и, от всего отделясь, взглянуть хорошенько на самого себя...» [Гоголь 2009–2010. 6: 85–86]. С этим призывом прямо связаны многочисленные обращения Гоголя к читателям о том, чтобы недостатки выведенных им героев они искали прежде всего в самих себе [Гоголь 2009–2010. 6: 46, 54, 95, 206, 253–254; 14: 480].

9. Проблема положительного героя

Гоголевские поиски положительных реалистических образов сопровождалась глубоким переживанием греховности человеческой природы. Преодолеть ее средствами одной художественной фантазии было, по убеждению Гоголя, невозможно. В «Авторской исповеди» он утверждал: «...Говорить и писать о высших чувствах и движениях человека нельзя по воображенью, нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупичу этого, — словом, нужно сделаться лучшим» [Гоголь 2009–2010. 6: 226]. В письме к А. О. Смирновой от 2 апреля (н. ст.) 1845 г. он замечал: «Нельзя изглашать святыни, не освятивши прежде сколько-нибудь свою собственную душу, и не будет сильно и свято наше слово, если не освятим самые уста, произносящие слово» [Гоголь 2009–2010. 13: 81]. 6 декабря (н. ст.) 1847 г. Гоголь писал также С. Т. Аксакову: «Поэты лгут иногда невинным образом, обманывая сами себя. Рожденные понимать многое, постигать мыслию красоту чувств и высокие явления в душе человеческой, они часто думают, что уже вмещают в самих себе то, что могут только несколько оценить и с некоторой живостью выставить на глаза другим, и величаются *чужим*, как своим *собственным* добром» [Гоголь 2009–2010. 14: 484].

Ценность этих гоголевских признаний — в их живом соответствии с многовековым духовным опытом подвижников Церкви. Слова Гоголя, в частности, точно совпадают с авторитетным суждением св. Исаака Сирина — «великого душеведца и прозорливого инока», — как отзывался о нем сам Гоголь, ознакомившись с творениями преподобного

в 1850–1851 гг. при посещении Оптиной Пустыни [Гоголь 2009–2010. 6: 258]. «Инаково слово деятельности, — писал сирийский святой, — и инаково слово прекрасное. И без опытного дознания чего-либо мудрость умеет украшать слова свои, говорить истину, не зная ее. Иный может толковать о добродетели, сам не изведав опытно дела ее. Но слово от деятельности — сокровищница надежды; а мудрость, неоправданная деятельностью, залог стыда» [Исаак Сирийский: 10]. Преподобный Григорий Синаит указывал также, что ищущий постичь заповеди без их исполнения, желающий понять их только через «учение и чтение» — «подобен есть воображающему (себе) сень вместо истины» [Григорий Синаит: 78].

С этим связана и проблема убедительности слова, писательская проблема. По словам Феофана Затворника, дар убеждения приобретается не «одним исследованием истины, а более <...> сердечным и жизненным усвоением ее»: «Где это совершится, там слово проникается убедительностью, потому что переходит от сердца к сердцу; тут и власть слова над душами» [Феофан Затворник: 224–225].

Гоголь в письме к протоиерею Матфею Константиновскому от 21 апреля 1848 г., говорил о себе: «Дух-обольститель так близок от меня и так часто меня обманывал, заставляя меня думать, что я уже владею тем, к чему только еще стремлюсь и что покуда пребывает только в голове, а не в сердце» [Гоголь 2009–2010. 15: 47]. Спустя месяц, 24 мая 1848 г., Гоголь в письме к графине С. М. Соллогуб признавался: «Внезапно растопившаяся моя душа заняла от страшной жестокости моего сердца. С ужасом вижу я, что в нем лежит один эгоизм, что, не смотря на уменье ценить высокие чувства, я их не вмещаю в себе во-все...» [Гоголь 2009–2010. 15: 223]. 18 декабря (н. ст.) 1847 г. он советовал С. П. Шевыреву: «Что для себя еще перспектива, пусть и останется в себе. Говорить нужно только о том, к чему уже пришел совершенно. Увы! я узнал это на опыте» [Гоголь 2009–2010. 14: 479].

Оценивая критический подход Гоголя к явлениям, происходящим в душе павшего человека, и главным образом в себе самом, можно было бы, с другой стороны (не обвиняя Гоголя в недостаточной душевной чистоте, а, напротив, защищая его от таких обвинений), возразить, что писатель был крайне максималистичен, излишне строг в своих оценках. Однако по существу Гоголь был прав. Создание им ранее положительного образа Тараса Бульбы во многом объяснялось тем, что

своим возникновением этот образ был обязан не только книжным и фольклорным источникам, не только гениальному творческому воображению художника. Успех в воплощении образа Тараса Бульбы в значительной степени был подготовлен и обеспечен — *предопределен* всей предшествующей жизнью Гоголя — тем, что подобный герой уже жил, «сидел» в нем самом, когда в 1828 г. будущий писатель покидал Нежинскую гимназию. Черты Тараса Бульбы задолго до воплощения этого образа в «Миргороде» были глубоко «усвоены» юным Гоголем благодаря основательному религиозно-патриотическому воспитанию, полученному им в родной семье и в школе [Виноградов 2019а].

И все-таки Гоголь, избегая поэтизации «пошлости» — той недостойной творца черты, которую, как указывалось, он изобразил в характере лстящего своим заказчикам художника «Портрета», в самых дорогих для себя «положительных», народных героях не мог не наблюдать и не отражать черты негативные, присущие всем представителям человеческого рода. Даже в своих героических запорожцах, изображенных в «Страшной мести» и в «Тарасе Бульбе», Гоголь подчеркнул целый ряд недостатков и пороков (пьянство, падкость на соблазны, несоблюдение постов, вспыльчивость, склонность к раздорам, корыстолюбие, мстительность и пр.), которые мешают отважным воинам, совершающим высокий подвиг, проливающим кровь за други своя, осуществлять в полной мере их христианское призвание.

10. Выписки Гоголя из духовной литературы как «душеведение» и исповедь

В борьбе со своими недостатками, с духовной косностью и «окамененным нечувствием» заключалась во второй половине 1840х гг. большая часть писательской деятельности Гоголя. Сразу после его смерти, разбирая уцелевшие от сожжения бумаги, друзья Гоголя обнаружили среди них значительное количество выписок религиозного содержания, в том числе уже не раз упоминавшийся сборник «Выбранные места из творений св. Отцов и учителей Церкви».

Этот сборник примечателен прежде всего тем, что, не заключая в себе каких-то особенных, неожиданных, «новых» мыслей, верно передает образ самого Гоголя как давно и прочно сложившегося христиана-

нина: гоголевское собрание заключает в себе то, что является самым дорогим, самым близким, наиболее «говорящим» его душе, наиболее свойственным Гоголю как чаду Церкви. В этом смысле сборник тоже следует рассматривать, в ряду других гоголевских произведений, как составную часть гоголевской писательской «исповеди». Сама по себе его «сохранность», при том, что перед смертью Гоголь уничтожил большую часть своих рукописей, говорит о том, что «исповедать» свои внутренние чаяния и стремления, отразившиеся в выписках, писатель считал, в отличие от исповедальных излияний в сожженном дневнике, полезным и нужным для читателя.

Показательно при этом, что в свое время содержание этого гоголевского богословско-психологического сборника встретило такое же, как книга духовно-нравственных наставлений писателя «Выбранные места из переписки с друзьями», активное противодействие со стороны последователей радикального критика В. Г. Белинского. Еще с 1830-х гг. критик пытался направить литературный процесс в нужное ему русло и уже тогда объявлял Гоголя — религиозного художника и мыслителя — хоть и гениальным творцом, но творцом *бессознательным* — и неглубоким, слабым мыслителем (эта позиция Белинского объяснялась стремлением дискредитировать духовное содержание творчества Гоголя, которое не имело ничего общего с радикальными интерпретациями критиком произведений тогдашних писателей — не только Гоголя, но и Грибоедова, Одоевского и др.).

В 1901 г. сборник «Выбранные места из творений св. Отцов и учителей Церкви» (до того времени неизвестный исследователям) попал «не в те руки». В свое распоряжение его получил от родных писателя профессор Киевской Духовной академии В. З. Завитневич [Чаговец; 4]. Получив сборник для оценки и осмысления — и для ознакомления с его содержанием широкой публики, Завитневич, состоявший в академии по кафедре русской гражданской истории, не осознав тесной «исповедальной» близости выписок с личностью самого Гоголя, судя по всему, отказался о них писать.

Однако без осмысления содержание сборника все-таки не осталось. Спустя два года, в 1903 г., Завитневич, человек, по многим свидетельствам, либеральных взглядов (в 1910 г. по этой причине он вышел в отставку), вступил в заочный спор с Гоголем. Под непосредственным впечатлением от гоголевских выписок Завитневич заявлял: «В. И. Шенрок,

переходя в четвертом томе своих “Материалов для биографии Гоголя” к обзору его жизни за последнее десятилетие, обращается к “специалистам богословия” с предложением высказаться по касающимся их специальности вопросам, тесно связанным с жизнью великого писателя за этот промежуток времени. Мы однако же думаем, что специалистам богословия тут нечего делать» [Завитневич: 338]. Повторяя многочисленные неприязненные отзывы о Гоголе Белинского, Завитневич «пояснял»: «Дело в том, что Гоголь, будучи великим художником, был далеко не великим мыслителем» [Завитневич: 338]. Продолжая свою полемику с Гоголем, Завитневич прибегал к следующим «аргументам»: «Следя за проявлением его религиозной мысли, выносишь то убеждение, что большинство философско-богословских вопросов, так глубоко волновавших наше современное ему *передовое* общество (курсив мой. — И. В.), прошло мимо его; по крайней мере на его теоретическом развитии не видно работы серьезной философско-богословской мысли. Его религиозное мировоззрение и по характеру затрагиваемых вопросов и по приемам решения их не выходит за пределы элементарного катехизиса» [Завитневич: 338–339].

Отзыв Завитневича относился не только к сборнику «Выбранные места из творений св. Отцов и учителей Церкви», но и к самой книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Это религиозно-патриотическое сочинение сам Гоголь тоже определял как неотъемлемую составляющую своей писательской исповеди: «Справедливее всего следовало бы назвать эту книгу верным зеркалом человека. <...> ...В ней есть моя собственная исповедь; в ней есть излишнее и души и сердца моего» [Гоголь 2009–2010. 6: 216, 219]. По отношению к «Выбранным местам из переписки с друзьями» русское общество, начиная с зальцбруннского письма Белинского, как известно, разделилось на два лагеря. Процитированные слова Завитневича, а также другие его суждения (см.: [Завитневич: 357–358, 404–405]) с очевидностью свидетельствуют о том, что в своих публицистических заявлениях либеральный профессор придерживался негативной позиции Белинского по отношению к гоголевской книге.

После того как Завитневич отказался ввести в научный оборот гоголевский сборник, выписки Гоголя были переданы профессору той же Киевской академии Н. И. Петрову, доктору богословия, который и осуществил в 1902 г. обстоятельный разбор выписок [Петров]. Гого-

левский сборник, наконец, получил тогда достойную оценку. Заклучая разбор выписок, профессор Петров писал: «Да будут же блаженный покой и вечная память верному сыну православной русской Церкви и общего нашего русского отечества боярину Николаю Васильевичу Гоголю!» [Петров: 305].

Объективный и беспристрастный разбор профессором Петровым гоголевских выписок является важным вкладом в изучение наследия писателя. Но отзыв Завитневича для истории науки о Гоголе тоже имеет свое значение. По-своему он показателен и даже поучителен. Мнение Завитневича еще раз свидетельствует — доказательством от противного, негативной оценкой от недоброжелателей Гоголя, — что обновленческих тенденций своего времени писатель не разделял, оставаясь православным христианином в строгих «пределах» катехизиса, утвержденного Церковью. Сам Гоголь на этом даже настаивал. О содержании своих «Выбранных мест из переписки с друзьями» он писал: «Я никакой новой науки не брался проповедать. Как ученик, кое в чем успевший больше другого, я хотел только открыть другим, как полегче выучивать уроки, которые даются нам нашим Учителем» [Гоголь 2009–2010. 6: 247]. С другой стороны, либеральный отзыв об одном из «исповедальных» сочинений Гоголя — сборнике «Выбранные места из творений св. Отцов и учителей Церкви» — служит наглядным подтверждением того, что политизированное, чуждое духовных основ восприятие гоголевских текстов оказывается непродуктивным ни в понимании художественных произведений писателя, ни в оценке его публицистики и духовного наследия в целом. Подобным «специалистам богословия» — на деле ученикам Белинского — «тут нечего делать» (употребляем собственные слова Завитневича [Завитневич: 338]).

11. Исповедь и художественное творчество

Если дневник как жанр Гоголь, во избежание обольстительной идеализации, считал немислимым в качестве литературной проповеди положительных черт, то, с другой стороны, дневник «пошлого человека» был просто необходим ему для анализа собственного душевного состояния, ради духовного роста, — как одно из средств контроля за собой, и в конечном счете — для писательства. В письме к сестрам Анне

и Елисавете (относящемся к периоду с осени 1843 г. до весны 1844 г.) он, в частности, замечал: «В уединенную свободную минуту старайтесь иногда припоминать себя в прежнем виде, то есть как вы были назад тому два, три года, сравнивайте *тогдашнюю* себя с нынешнею и старайтесь узнать, чем именно вы сделали умней прежнего. Вот для чего советовал я вам тогда писать журнал... <...> Я употребляю все усилия, чтобы быть лучше; старайтесь и вы также» [Гоголь 2009–2010. 12: 404].

В написанном в тот же период трактате «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии» Гоголь советовал: «...Всякая ничтожная безделица иногда бывает в силах раздражить нас. В таком случае весьма бы хорошо было припомнить все такие безделицы, которые нас выводят из себя, и записать их. Хорошо бы даже вести журнал, в котором записывать, когда и за что рассердился, и потом почаще его перечитывать» [Гоголь 2009–2010. 6: 308].

Одним из «исповедальных» средств борьбы со своими пороками стало для самого Гоголя, кроме дневника, его творчество. В одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”» он признавался: «Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что передал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться. Я оторвался уже от многого тем, что, лишивши картинного вида и рыцарской маски, под которою выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом с той гадостью, которая всем видна» [Гоголь 2009–2010. 6: 85]; «...Герои мои потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения — история моей собственной души. <...> Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной» [Гоголь 2009–2010. 6: 82].

Неудивительно, что в 1846 г. Гоголь взял под защиту и творчество М. Ю. Лермонтова. В создателе «Демона» он видел такое же, как в себе, стремление через художественную «исповедь» средствами поэтического самовыражения избавиться от гнетущих душу страстей. (Гоголевская апология лермонтовской поэзии была связана с тем, что Белинский вскоре после смерти Лермонтова провозгласил его тесную «дружбу» с демоническим миром. Художественные образы, которые Гоголь оценивал как борьбу поэта со злом, Белинский интерпретировал как поэтическое «поклонение» демоническому миру — и вполне по-хлестаковски, безответственно *хвалил* за это Лермонтова [Виноградов 2018b]).

Таким образом, если Гоголь, по его собственному признанию, обнажал перед читателем свой внутренний мир — мир испорченной грехопадением человеческой природы, то делал это исключительно с «критических» позиций — исходя из строгого духовного самообличения, с той оценкой, которая придавала его почерпнутым из души образам по преимуществу сатирический характер. Подобная «самоцензура» — внутренний духовный «контролер», почти «ярко» для стихийного, самодовольного «я», — не только *не* была препятствием для самовыражения художника, но, напротив, явилась одним из краеугольных, принципиальных особенностей гоголевской поэтики. Эта черта наиболее адекватным образом объясняет характер и направленность гоголевской «сатиры».

«Исповедального» оценочного психологизма Гоголь ожидал и от всей современной и последующей словесности. В статье «О Современнике» он писал: «Многие даже из первокласснейших талантов становились ниже себя, зашедши в область вымысла, но высоко возвышались даже и небольшие таланты, когда событиями собственной души своей были наведены на то, чтобы передавать одну чистую правду души. Приспевает время, когда жажда исповеди душевной становится сильнее и сильнее» [Гоголь 2009–2010. 6: 213]. Подразумевая оздоравливающую, созидающую силу исповеди, в отдельной заметке (относящейся, по-видимому, к продолжению «Мертвых душ») он пометил: «У исповеди собрать все сословия, все как равные между собою. Все дело имеют с Богом» [Гоголь 2009–2010. 6: 406].

12. Христианство и искусство

Можно сказать, что проблема сочетания художника и христианина, вопрос о возможности или невозможности их творческого соединения, для самого Гоголя «не существовала»: она была решена писателем в самом начале его творчества, еще при создании «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Впоследствии трезвый христианский взгляд Гоголя на страстные движения души, представление о том, как выглядит с духовной высоты, как бы в глазах Самого Бога, обольщающийся по поводу своих «прекраснодушных» чувств падший человек, только окреп при создании «Ревизора» и «Мертвых душ».

Как известно, друзья Гоголя — известные славянофилы либерального лагеря Аксаковы, вопреки убеждениям самого писателя, размышляя о его творческих исканиях, неоднократно заявляли о «пагубности» соединения «религиозного направления» с художественным творчеством, настаивали на невозможности «примирения искусства с религией», на «тщетности» объединения «христианства и искусства»¹. Заявляя об этом довольно безапелляционно, Аксаковы даже не предполагали — не догадывались, что гоголевская «сатирическая» проза изначально носила глубоко христианский, психологический характер.

Именно С. Т. Аксакову в 1842 г. Гоголь писал по поводу своего будущего паломничества к Святым Местам: «Признайтесь, вам странно показалось, когда я в первый раз объявил вам о таком намерении? <...> Человеку, не носящему ни клобука, ни митры, смешившему и смешавшему людей, считающему и донине важным делом выставлять неважные дела и пустоту жизни, такому человеку, не правда ли, странно предпринять такое путешествие?» [Гоголь 2009–2010. 12: 112]. Позднее, в 1847 г., в письме к А. О. Смирновой Гоголь замечал об Аксаковых, отце Сергее Тимофеевиче и сыне Константине Сергеевиче: «Почувствовать, что всё, совершающееся в нас, совершается не без воли Божией и <...> не во вред искусству, но к возвышению искусства, <...> из них никто не в силах, ни отец, ни сын...» [Гоголь 2009–2010. 14: 279–280].

Единение духовного (психологического) и художественного (эстетического) в судьбе Гоголя происходило, по его свидетельству, даже без особых усилий с его стороны, как бы само собой, «естественно», т. е. закономерно для человека, воспитанного в христианской среде, начиная с семьи, кончая такой же, основанной на духовных принципах образования школой. Согласно гоголевским признаниям, «охота» наблюдать

¹ В. С. Аксакова, повторяя слова отца, С. Т. Аксакова, 3 декабря 1846 г. сообщала двоюродной сестре М. Г. Карташевской, что «религиозное направление» Гоголя «овладело им до такой степени, что художник исчезает» [Виноградов 2017–2018. 5: 459]. В письме к сыну Ивану от 23 января 1847 г. С. Т. Аксаков замечал о Гоголе: «...Говоря о примирении искус<с>тва с религией, он всеми словами и действиями своими доказывает, что художник погиб в нем» [Виноградов 2017–2018. 5: 540]. На другой день после похорон Гоголя, 25 февраля 1852 г., он же писал Карташевской: «Нельзя служить двум владыкам; нельзя исповедовать двух религий: христианства и искусства» [Виноградов 2017–2018. 7: 368]. Подробнее о позиции Аксаковых см.: [Виноградов 2020a].

«над душой человеческой» стала свойственна ему еще до того, как он «сделался писатель» [Гоголь 2009–2010. 6: 252], т. е. еще в 1820-х гг., в период обучения в Нежинской гимназии. Однако никакой личной своей «заслуги» в этом Гоголь, однозначно, не видел; присущий ему с юных лет христианский психологизм был для него вполне естественным. Поэтому связанное с церковной исповедью мышление, проявившееся в самых первых его произведениях, не требовало пояснений. Вследствие этого современному читателю по самохарактеристике Гоголя в «Авторской исповеди» его раннего творчества даже трудно понять, что соединение «христианства и художества» явилось у него уже в самых первых художественных созданиях. Присущая Гоголю «от малых лет <...> страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движеньях» [Гоголь 2009–2010. 6: 228] была для писателя настолько органичной, сама собой разумеющейся, что подчеркивать это писатель считал излишним. В собственном гоголевском объяснении начальных этапов его писательства, в «чистосердечной повести» его «авторства», все выглядело просто: «Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. <...> Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходиться в голову такие глупости» [Гоголь 2009–2010. 6: 221–222].

Специально обращать внимание на то, что изображение «смешных лиц и характеров» даже в самых «первых» его произведениях [Гоголь 2009–2010. 6: 251] было следствием глубокого христианского взгляда на душу человека, Гоголь, вероятно, полагал даже и нескромным. Христианское мировоззрение, традиционное мышление в духовных категориях было характерным для него с самого раннего возраста и определяло уже первоначальные его создания. Поэтому-то даже его «юношеские опыты» [Гоголь 2009–2010. 6: 259], которые сам он позднее оценивал невысоко — называя их «ученическими» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 80], — неизбежно становились нравоучительными¹. На это, в частности, недвусмысленно указывает сам рассказчик «Вечеров на

¹ См.: [Виноградов 2018с: 9–16].

хуторе близ Диканьки», гоголевский пасичник: «Я <...> люблю <...> чтобы <...> вместе и улаждение и назидательность была...» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 165].

13. История вызревания взглядов Гоголя на значение смеха

Только по заданной Белинским политизированной схеме, противопоставляющей Гоголя «раннего» и «позднего» периодов творчества, все сколько-нибудь значимые явления духовной жизни писателя будто бы относятся исключительно к последним годам его жизни. Эта тенденциозная схема, «прокрустово ложе» для идеологического искажения гоголевского наследия, проверки фактами не выдерживает ни в биографическом, ни в творческом отношении.

Как и применительно к другим проявлениям гоголевской неизменной религиозности, столь же противоестественно представлять результатом размышлений исключительно «позднего» Гоголя его решение о религиозном обличении — через осмеивающую, духовно мотивированную, психологическую «сатиру». Предположить такое невозможно хотя бы потому, что «сатириком» Гоголь стал весьма рано. Решение избрать в качестве орудия писательской деятельности «жало сатиры» было принято им уже в самый начальный период творчества. И сделано это было, вопреки заявлениям Белинского о «бессознательности» гоголевского гения, отнюдь не «стихийно» и не «интуитивно», будто бы лишь художническим инстинктом. Обращение Гоголя к жанру сатиры, к обличающему осмеянию, совершалось вполне осознанно и намеренно. Писатель пришел к этому не только «чутьем», но совершая контролируемый, целенаправленный выбор, с соответствующим основательным размышлением. Совокупность воззрений Гоголя на проблемы сатиры и обличающего смеха представляет собой в подлинном смысле слова авторскую *концепцию* — именно так можно охарактеризовать последовательные, систематические взгляды писателя по многим вопросам, включая проблему сатиры. Мотивы своего решения сам Гоголь по мере вызревания его концепции доступно и внятно изложил в художественных и публицистических произведениях. Именно поэтому становится возмож-

ным детально, шаг за шагом, проследить вызревание гоголевских взглядов на исцеляющую роль смеха.

Уже с самых первых своих произведений Гоголь поставил перед собой задачу духовного характера — проблему христианской проповеди, направленность которой изначально хотел придать своему творчеству. Определенно с точки зрения если не священника, то во всяком случае человека заинтересованного в действенности церковного слова, он затронул эту проблему в самой первой из своих повестей, в первоначальной, журнальной редакции «Вечера накануне Ивана Купала». Замечание рассказчика этой повести о церковной проповеди вполне поясняет, как смотрел уже «ранний» Гоголь на своих «пошлых» героев, Черевиков, Пацюков, Солох, Довгочунов, равнодушных к христианскому поучению: «Ну, тогдашние времена были пожестче наших. Тетка моего деда говорила, что несмотря на все усилия отца Афанасия растрогать своих прихожан проповедью, он только мог видеть широкие их пасти, которые они со всем усердием показывали в продолжение его речей»¹.

(Похожее рассуждение с упоминанием о бесчувственном к разумлению общественном «животном» встречается в позднейшей статье Гоголя «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году»: «Г. Шевырев показал <...> благородный порыв <...>, но на большинство <...> эта статья решительно не сделала никакого впечатления. <...> ...<Статья> скользнула по “Библиотеке для Чтения”, как пуля по толстой коже носорога, от которой даже не чихнуло тучное четвероногое»; [Гоголь 2009–2010. 7: 474]).

Уже в самый ранний период, т. е. еще при создании «Вечеров...», был получен и ответ, чего же все-таки *боится*, т. е. чем может быть «разбужен», выведен из душевного усыпления, равнодушный к проповеди «толстокожий» падший человек. Это гоголевское решение в истоке своем тоже было глубоко церковным: исполненный грехами человек «боится» исповеди, боится обличения и разоблачения его низких движений. И подобно тому, как на исповеди, когда пробуждающийся от нравственной спячки человек отдает себя — пред собой, пред испытующим свидетелем-священником и пред лицом Самого Бога — бла-

¹ <Гоголь Н. В.> Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть (из народного предания), рассказанная дьячком Покровской церкви // Отечественные Записки. СПб., 1830. Ч. 41. Февраль. № 118. С. 251.

готворному, но жесткому стыду и поношению, такую же, по убеждению Гоголя, действительную — небезболезненную, но благотворную для грешного человека роль несет публичное поношение его «пошлой» сущности смехом. С той целью Гоголем и был задуман впоследствии «Ревизор» — комедия, обличающая «лихоимцев» и «плутов», черствых к духовному увещанию.

Позднее, после создания своей знаменитой сатирической пьесы, в автокомментарии к ней, в «Театральном разезде после представления новой комедии», Гоголь писал: «...Насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 468]. Как выясняется, эти хорошо известные строки тоже вызревали у Гоголя еще в самый ранний период его творчества — задолго до написания «Ревизора».

Убеждение в благотворной силе смеха также складывалось у Гоголя еще в то время, когда в «Вечере накануне Ивана Купала» он изобразил равнодушных прихожан, разевающих свои «широкие пасти» в ответ на проповедь сельского священника. (Добавим, что много лет спустя, в 1846 г., Гоголь по-прежнему с сожалением констатировал, что «многие» из священников, «почти уверились, что их никто теперь не слушает, что слова и проповедь роняются на воздух» [Гоголь 2009–2010. 6: 94]).

Сложившееся вскоре после создания «Вечера накануне Ивана Купала» убеждение в исцеляющем действии смеха он тогда же воплотил в другом произведении «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — в повести «Страшная месть». Уже начало этого произведения говорит за себя — повесть открывается очевидным религиозным мотивом и содержит прямое напоминание о паломничестве в Киев, к святым местам: «Что ж, господа, когда мы съездим в Киев? Грешу я, право, пред Богом: нужно, давно б нужно съездить поклониться святым местам. <...> Будем молиться и ходить по святым печерам. Какие прекрасные места там!» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 525] (от этого вступления к повести Гоголь по неизвестным причинам отказался, поэтому широкому читателю оно осталось неизвестным).

В «Страшной мести» Гоголь вывел образ жестокого, закоснелого во зле колдуна, который, несмотря на всю свою черствость, испытывает невыразимые муки от одного только кажущегося ему посрамления смехом: ему «все чудилось, что все смеются над ним» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 211]. Карающий «смех» разит колдуна со всех сторон, гнетет

и гонит его с такой силой, что ради избавления от «насмешки» он готов на убийство. «Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает рот и выскаливает зубы. И на другой день находили мертвым того человека» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 211].

При этом гоголевскому колдуну не чужда мысль о покаянии, намерение обратиться туда, куда, согласно упомянутому вступлению, влечет самого рассказчика «Страшной мести» — к «святым печерам»: «Покаюсь: пойду в пещеры, надену на тело жесткую власяницу, день и ночь буду молиться Богу. Не только скоромного, не возьму рыбы в рот! не постелю одежды, когда стану спать! и все буду молиться, все молиться! И когда не снимет с меня милосердие Божие хотя сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю или замуруюсь в каменную стену; не возьму ни пищи, ни питья и умру; а все добро свое отдам чернецам, чтобы сорок дней и сорок ночей правили по мне панихиду» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 227].

Однако обещания колдуна оказываются ложью — и только преследующий его жестокий смех опять беспощадно приводит ему их на память: «...Вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и — чудо, засмеялся! <...> Дыбом поднялись волоса на голове колдуна. Дико закричал он и заплакал, как иступленный, и погнал коня прямо к Киеву. <...> Отчаянный колдун летел в Киев к святым местам» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 240].

Описывая путь колдуна к киевским святыням, рассказчик замечает: «...Звезды, казалось, бежали впереди перед ним, указывая всем на грешника...» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 240]. Не лишне опять заметить, что про это обличение грешного человека звездами, глядящего на него с небес, — про эту своего рода духовную «ревизию» — Гоголь написал тоже очень рано, еще до того, как задался проблемой смеха. Внимание на это он обратил еще за три года до создания «Вечеров...» в юношеской поэме «Ганц Кюхельгартен». Гоголь упоминал в этой поэме о звездах, ниспосылающих «добрым мир, а злым — яд гибельный упрека» [Гоголь 2009–2010. 7: 46]. «Пояснением» к этому мотиву служит опять-таки содержание одной из повестей «Вечеров...», а именно реплика героини о звездах в «Майской ночи...»: «...Ведь это ангелы Божии поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 129].

Постыдный для колдуна грех терзает его изнутри так, что обличающий «смех» чудится ему даже в келье святого схимника: «Отец, ты смеешься надо мною! <...> И как бешеный кинулся он — и убил святого схимника!» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 241].

Такой же мучительный, сотрясающий все существо грешника смех встречает колдуна в самом финале повести, на пороге смерти: «...Недвижный всадник <...> увидел несшегося к нему колдуна и засмеялся. Как гром, рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам... так страшно отдался в нем этот смех!» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 242].

По-видимому, именно этим пронзающим самого очерствелого грешника смехом — бьющим «молотами по сердцу, по жилам» — и решил Гоголь в 1832 г. пронять своих равнодушных к христианской проповеди современников — и тех, которые послужили ему ранее прообразами «неидеальных» героев «Вечеров...», и тех, которые стали прототипами для позднейших Повести о двух Иванах, «Ревизора» и «Мертвых душ». Первое обращение Гоголя к жанру обличительной комедии относится именно к тому периоду, который последовал вскоре по завершении «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Летом 1832 г., т. е. спустя два-три месяца после издания заключительной части цикла, в записной тетради Гоголя появился черновой набросок, прямо на это указывающий: «Комед<ия>» («Матер<иалы> общие», «Матер<иалы> частн<ые>»; [Гоголь 2009–2010. 7: 130])¹.

¹ Обозначенное в отрывке «Комедия» «старое правило» («уже хочет достигнуть, схватить рукою, как вдруг помешательство и отдаление желанного предмета на огромное расстояние»; [Гоголь 2009–2010. 7: 130]) положено Гоголем в основу целого ряда произведений — как предшествующих, так и последующих. Отчетливо эта идея воплощена уже в «Вечере накануне Ивана Купала»: «Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю, и все, чем далее, глубже, глубже...» [Гоголь 2009–2010. 1/2: 121]. Это же «правило», по-видимому, определяло сюжет незавершенной комедии Гоголя «Владимир 3-ей степени». По воспоминаниям А. Н. Афанасьева, «герой комедии добывается получить Владимирский крест, и судьба несколько раз безжалостно обманывает его чиновничье честолюбие: уже, кажется, все сделано, вот-вот повесят Владимирский крест, а тут как нарочно что-нибудь да помешает. Последняя неудача сводит героя комедии с ума» [Виноградов 2017–

Дополнительным, решающим толчком, обратившим Гоголя к жанру комедии, послужило тогда, по-видимому, чтение только что вышедшего русского перевода книги французского военного инженера и путешественника XVII в. Г. де Боплана «Описание Украйны» (СПб., 1832). (Цензурное разрешение книги подписал 27 октября 1831 г. цензор В. Н. Семенов — близкий знакомый Гоголя начиная с того же 1832 г.). В рассказе Боплана особенное внимание Гоголя привлекли описания свадебных обычаев казаков и более всего — заключительное замечание французского автора о малороссийской свадьбе: «...Надобно отдать справедливость Украинским девицам. Хотя свобода пить водку и мед могла бы довести до соблазна; но торжественное осмеяние и стыд, коим подвергаются оне, потеряв целомудрие, удерживают их от искушения»¹ (курсив мой. — И. В.). Прочитав эти строки², Гоголь в одном из черновых набросков к статье «Отрывок из Истории Малороссии» (позднейшее название — «Взгляд на составление Малороссии») записал: «Особенная страсть к увеселениям, к общественным гульбищам. С начала весны все девки и парни выходят на улицу из хат и поют приветствия весне. Улица делается всеобщим собранием. Как просто, как высоко постигнуто это удержимое средство (о свадьбах). Человек ничего так не боится, как стыда» [Гоголь 1952. 8: 600; курсив мой. — И. В.]. С этими размышлениями, написанными под впечатлением слов Боплана об «осмеянии и стыде», несомненно, и связаны позднейшие упомянутые строки «Театрального разезда...»: «...Насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 468].

Бьющий «молотами по сердцу» обличительный смех стал вскоре главным орудием гоголевской проповеди (наряду с вдохновляющим

2018. 2: 248]. Герой «Записок сумасшедшего», замысел которых восходит к «Владимиру 3-ей степени», также замечает: «Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, — срывает у тебя камер-юнкер или генерал» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 169]. Очевидно, что и судьба Чичикова, все предприятия которого, направленные к обогащению, срываются одно за другим, строится Гоголем в согласии со «старым правилом». «...Как только начинаешь <...> уже касаться рукой <...> вдрут буря, подводный камень, сокрушение в щепки всего корабля», — говорит Чичиков в заключительной главе второго тома поэмы [Гоголь 2009–2010. 5: 469].

¹ <Боплан Г. Л., де> Описание Украйны. Соч. Боплана. Перевод с французского. СПб.: В Типографии Карла Крайя, 1832. С. 77.

² Указано: [Тихонравов: 578].

проповедническим началом, воплощенным в «Тарасе Бульбе»). Подразумевая своего «Ревизора», Гоголь в одной из статей «Выбранных мест из переписки с друзьями», в статье «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности», замечал: «Театр ничуть не безделица <...> в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек и что вся эта толпа, <...> может вдруг потрястись одним потрясеньем, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра» [Гоголь 2009–2010. 6: 57–58].

Такой же верой в действенную, «проповедническую» силу смеха проникнуты строки статьи Гоголя, адресованной в «Выбранных местах...» «русскому помещику»: «Мужика не бей. <...> Но умей пронять его хорошенько словом... <...> Ругни его при всем народе, но так, чтобы тут же обсмеял его весь народ; это будет для него в несколько раз полезней всяких подзатыльников и зуботычин» [Гоголь 2009–2010. 6: 112].

На разительную, «бьющую» силу смеха указывает в «Ревизоре», помимо прочего, фамильное прозвище «пустышки» Хлестакова. Согласно замыслу Гоголя, явлением этой ничтожной фигуры наказывает в комедии проворовавшихся чиновников Сам Бог. Об этом в пьесе говорит Городничий: «Вот, подлинно, если Бог захочет наказать, так отнимет прежде разум» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 299]. Гоголь повторяет эту мысль от своего имени в черновых набросках «Театрального разезда...», написанных сразу после первой постановки «Ревизора»: «...Отнял Бог разум у тех, у которых его достало <только> на то, чтобы превратно толковать <закон>...» [Гоголь 1949. 5: 387].

По-видимому, фамилия Хлестакова напрямую связана с материалами гоголевской «Книги всякой всячины, или подручной Энциклопедии». Эта связь проявляется здесь дважды. Во-первых, обращает на себя внимание украинское выражение «Хльосту дать (розгами высечь)» [Гоголь 2009–2010. 9: 556]. Оно находится в «Книге всякой всячины...» в разделе «Пословицы, поговорки, приговорки и фразы малороссийские». (Согласно строкам черновой редакции «Ревизора», Хлестаков является уроженцем южной — «Екатеринославской губернии» [Гоголь 1951. 4: 150, 164, 271].) В этом свете фамилия Хлестаков указывает на «распекательную» для уездных чиновников функцию мнимого ревизора. Во-вторых, фамилия героя, через которого осуществляется возмез-

дие, по-видимому, связана с конкретным употреблением украинского слова «хльоста» (или хлост) в «Вирше, говоренной гетьману Потемкину запорожцами на Светлый праздник Воскресения», в той же «Книге всякой всячины...»: «Дав Бог хлости...» [Гоголь 2009–2010. 9: 503]. «В переводе» с языка одного произведения на язык другого это и означает: «...Отнял Бог разум у тех, у которых его достало <только> на то, чтобы превратно толковать <закон>...»¹

14. «Неполитический» пафос сатиры Гоголя

Отличие гоголевских обличений от политической сатиры, на котором настаивал сам писатель, с наглядностью воплощается и в том, что с «Ревизором» в творчестве Гоголя органично соседствуют произведения, которые являются не менее «сатирическими», однако лишены каких-либо намеков на «политику». К подобным однозначно «неполитическим» обличительным сочинениям относится, например, комедия Гоголя «Игроки», с героями которой «плуты»-чиновники главного драматургического произведения Гоголя, «Ревизора», имеют много общего (см.: [Виноградов 2020с: 271–274]). Или повесть «Невский проспект», которая по разоблачительному пафосу тоже мало уступает «Ревизору». Вопиющая «норма» столичной, чиновничьей жизни людей всех возрастов, изображенная в вечерних прогулках «благородной» публики Невского проспекта — «как только сумерки упадут на дома и улицы» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 11], по своему уровню ничем не отличается от той «нормы», которую проповедует Городничий в «Ревизоре», рассуждая об установленных «Самим Богом» взятках, против которых «волтерянцы» «напрасно говорят»² [Гоголь 2009–2010. 3/4: 223]. Остается

¹ Одновременно следует подчеркнуть, что с самого начала творчества никакой идеализации смеха в произведениях Гоголя не было (см.: [Виноградов 2000: 11–12]). Но даже очевидная амбивалентность смехового начала (сознаваемая самим писателем), не помешала тому, что гоголевский смех уже в первых его произведениях стал, по оценке архимандрита Константина (Зайцева), «великой религиозно-моральной силой» [Архимандрит Константин: 343].

² Можно было бы предположить, что вложенная в уста героя фраза является порождением «безудержной», «гротесковой» фантазии писателя. Однако это не так. Аналогичное наблюдение внес, к примеру, в

лишь поражаться «терпимости» современной Гоголю цензуры, пропустившей в печать столь разоблачительное для «просвещенного» Петербурга произведение. (В целом сочинения, затрагивавшие подобную проблематику, тогдашней цензурой запрещались [Дризен: 103–114]).

Как известно, для постановки и печатания «Ревизора» понадобилось прямое вмешательство и понимание самого императора Николая I. Подобно «Ревизору», «Невский проспект» — произведение не менее «сатирическое» — и такое же далекое от «революционного» подтекста, как сама комедия. «Невский проспект» обнаруживает в авторе, двадцатипятилетнем Гоголе, чистого, консервативного, исполненного высоких стремлений юношу, столкнувшегося по приезду в Петербург с явлением, в котором «человек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 17]. Пафос обличений Гоголя на протяжении всего его творчества был направлен не против политического устройства общества, но против «адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни», «демона», который «искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе» («Невский проспект»; [Гоголь 2009–2010. 3/4: 18–19]). Направленность обличений Гоголя, подвергавшего осмеянию современные пороки с точки зрения церковных законов, таинства христианской исповеди и гражданских установлений [Виноградов 2020b], свидетельствует о том, что борьба писателя с не-

1838 г. в свою записную книжку князь В. Ф. Одоевский: «Я заметил, что в Петербурге называют либералами тех, которые не берут взяток... <...> Да — это либерализм во времени общей безнравственности и бесстыдной наглости» [Одоевский: 71, 396]. Позднее А. О. Смирнова в письме к Гоголю от 26 января 1848 г., говоря о московском генерал-губернаторе графе А. А. Закревском, замечала: «...Он себя представляет охранителем Москвы от вольнодумцев, а вольнодумцами представляет тех, что не любят разврат, который у него делается, который делается вообще в свете. В том числе, вероятно, и мы с вами, а уж, кажется, я стою за правду и не заражаюсь ничем!» [Гоголь 2009–2010. 15: 159]. Слова Смирновой напоминают и упомянутую реплику Городничего в «Ревизоре», и гоголевскую характеристику грибоедовского Фамусова в статье о русской поэзии «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «Он даже вольнодумец, если соберется с подобными себе стариками, и в то же время готов не допустить на выстрел к столицам молодых вольнодумцев, именем которых честит всех, кто не подчинился принятым светским обычаям их общества» [Гоголь 2009–2010. 6: 184].

гативными явлениями его времени разворачивалась отнюдь не в оппозиционном, но, напротив, в созвучном правительству духе. Не случайно «Ревизор», разрешенный Императором к постановке и печатанию, постоянно упоминался впоследствии во всех письмах и прошениях на Высочайшее имя самого Гоголя и других лиц, ходатайствовавших за него перед царем об оказании материальной помощи¹, — что, конечно же, было бы немыслимо, если бы смысл комедии был таков, каким его пытались представить радикальные критики.

Каким же образом гоголевская религиозная «критика справа», со стороны самих законов Российской державы, оказалась на вооружении леворадикальной «натуральной школы» и последующих революционно-демократических течений? Некое подобие такой практики можно усмотреть в деятельности различных сект, берущих за основу текст Священного Писания, но извращающих его смысл в своих интересах. Так проповедь покаяния становится средством идеологической борьбы.

Современные толкователи Библии находят, к примеру, возможность такого понимания Священной истории, когда в слове пророка, в проповеди, усматривается оружие для борьбы с врагами. Известный богослов, профессор А. П. Лопухин в 1887 г. писал в объяснение Книги Пророка Ионы: «На ассирийском престоле <...> появляется ряд знаменитых царей-завоевателей... <...> Первый удар они нанесли Сирийскому царству... <...> Та же участь <...> ожидала и царство Израильское. <...> ...Так как у народа израильского <...> не было достаточных военных сил <...>, то спасение его оставалось только <...> в силе нравственной, и вот представителем этой <...> силы явился пророк Иона, который послан был проповедывать ниневитянам смирение и покаяние. <...> Ниневитяне смирились и покаялись... <...> Таким образом на время была отвращена от царства Израильского опасность чужеземного завоевания...» [Лопухин: 478–480].

Акцент в данном толковании смещен так, как это произошло позднее в России в начале XX в. с истолкованием «Ревизора» и «Мертвых душ». В объяснении А. П. Лопухина главной целью проповеди св. пророка Ионы оказывается не спасение ниневитян от наказания. Эта задача, ради которой, согласно Писанию, и послан был пророк, становится, так сказать, «побочным действием» посланничества. На первое место

¹ См.: [Виноградов 2017–2018. 3: 30; 4: 9; 5: 82]; [Виноградов 2012: 117].

выдвигается предотвращение от нашествия «нечестивых» ниневитян самих израильтян. Надо ли говорить, что проповедь «смирения и покаяния» становится в таком случае своего рода уловкой, или, говоря современным языком, идеологическим оружием в «информационной войне».

Именно по этой логике в предреволюционные и послереволюционные годы в России гоголевское обличение греха в «Ревизоре» и в «Мертвых душах» была направлено не на исправление и спасение тех, к кому оно было обращено, но на прямое их уничтожение.

15. Христианский психологизм и народничество

Христианский психологизм Гоголя — его «привычка» или обыкновение оценивать человека, прежде всего самого себя, как на исповеди, в свете евангельских заповедей, — находит непосредственное отражение в гоголевском изображении жизни в целом. При несомненной глубокой вере в народ — присущей в XIX в. представителям всех общественных партий, и западникам, и славянофилам — исключительность гоголевского взгляда заключалась в том, что народнических, социалистических иллюзий по поводу отдельных черт народного характера создатель «Тараса Бульбы» не разделял.

В 1846 г. в статье «Светлое Воскресенье» он замечал: «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. “Хуже мы всех прочих” — вот что мы должны всегда говорить о себе» [Гоголь 2009–2010. 6: 203]. Эта оценка, безусловно, не означала безоголосного осуждения Гоголем всей русской жизни. Степенью близости «ко Христу» писатель измерял нравственное состояние не только русской, но и других наций, проявляя при этом такую же взыскательность. Обличая народные недостатки, писатель неизменно дорожил «сокровищами» «духа и характера» русского народа [Гоголь 2009–2010. 9: 711]. Сама по себе требовательная гоголевская оценка была не только не безоговорочной, но заключала в себе несомненное *преувеличение*. Ранее в «Театральном разезде...» (1842) сам Гоголь писал: «...Без глубокой сердечной исповеди, без христианского сознания грехов своих, без преувеличенья их в собственных глазах наших не в силах мы возвы-

ситься над ними...» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 450]. К подобному «преувеличению» писатель считал предназначенным и свой писательский дар — «дар выставлять так ярко пошлость жизни <...> чтобы та *мелочь*, которая ускользает от глаз, мелькнула бы *крупно* в глаза всем» [Гоголь 2009–2010. 6: 81]¹.

Безоговорочно выше бесплодного, неспособного на самопожертвование и героизм «вседневного», «нормального» прозябения, писатель ставил «молодую удаль и отвагу рвануться на дело добра» — «удаль нашего русского народа», которая «дает у нас вдруг молодость и старцу <...>, если только предстанет случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого народа...» [Гоголь 2009–2010. 6: 193]. В 1834 г. в статье «Несколько слов о Пушкине» Гоголь загадывал, что в настоящем своем значении «русский человек» явится, может быть, лишь «через двести лет» [Гоголь 2009–2010. 7: 274]. Как в «ранний» период творчества, так и позднее возможность для России стать в духовном отношении выше и «лучше других народов» писатель усматривал именно в глубоком христианском сознании русского человека, в постоянном искоренении недостатков, мешающих его развитию. В упомянутой статье «Светлое Воскресенье» он заключал: «...Есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще расплавленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней» [Гоголь 2009–2010. 6: 203].

Об англичанах в частной беседе Гоголь в 1851 г. говорил: «Странно, как у них всякий человек особо и хорош, и образован, и благороден, а вся нация — подлец; а все потому, что родину свою они выше всего ставят» [Виноградов 2017–2018. 7: 26]. В «Учебной книге словесности для русского юношества» (1845) он указывал: «Немцу, о чем бы он ни говорил, не отрешиться от немца; <...> англичанину и подавно, более всех нельзя отделиться от своей природы» [Гоголь 2009–2010. 6: 343].

¹ В «Мертвых душах», размышляя о страхе возмездия, который, подобно увеличительному стеклу гоголевской сатиры, тоже способен пробивать кору «нормального», т. е. привычно «мертвенного» состояния, писатель сходным образом замечал: «...Страх прилипчивее чумы и сообщается вмиг. Все вдруг *отыскивали в себе такие грехи, каких даже не было*» [Гоголь 2009–2010. 5: 187 (курсив мой. — И. В.)].

Сравнительно с оценкой духовной косности «закалившихся», «получивших форму» наций, животворные свежие чувства, чуткость и «отвагу», свойственные русскому человеку, Гоголь наблюдал за границей и в итальянском народе. В письме к М. П. Балабиной 1838 г. он замечал о «пылкой природе» этого народа, «на которую холодный, расчетливый, меркантильный европейский ум не набросил своей узды» [Гоголь 2009–2010. 11: 147]. При этом он восклицал: «Как показались мне гадки немцы после итальянцев, немцы, со всею их мелкою честностью и эгоизмом!» [Гоголь 2009–2010. 11: 147]. В 1845 г. в письме к Н. М. Языкову Гоголь, задавая поэту-другу «тему» для стихотворных импровизаций, в свою очередь, утверждал: «...Блажен тот, кто, оторвавшись вдруг от <...> подлой <...> жизни, <...> как бы вдруг <...> загорается еще сильнейшей жаждой небесною, чем всякой другой, и становится <...> возвышеннее даже того, кто всю жизнь провел в честности» [Гоголь 2009–2010. 13: 12]. Ближайшим источником этих размышлений, вероятно, являются слова Спасителя, отпускающего грехи: «...Кому мало оставляется, тот мало любит» (Лк. 7, 47).

Самооправдательного стремления «думать о будущем мимо настоящего» [Гоголь 2009–2010. 6: 108] Гоголь, соблюдая трезвость, всячески избегал. Вместо бесполезного обыкновения «пялить глаза в будущее» [Гоголь 2009–2010. 6: 108], неоправданно восторгаться или чрезмерно огорчаться по поводу России, в качестве «путей и дорог» к лучшему он предлагал беспощадный анализ «низкого и недостойного» в окружающей жизни [Гоголь 2009–2010. 6: 108]. В статье о русской поэзии 1846 г. одним из действенных средств совершенствования нации Гоголь называл, опять-таки, очищающую силу смеха: «Все смеется у нас одно над другим, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговеющее только пред одним нестареющим и вечным» [Гоголь 2009–2010. 6: 191].

Трезвый, обличающий взгляд Гоголя на народную жизнь возмутил, в частности, в 1842 г. славянофила Ф. В. Чижова, который позднее, в 1847 г., сообщал самому писателю о том, как подействовали на него при первом чтении «Мертвые души»: «Выставляйте вы мне печальную сторону, разумеется, <...> <что> самолюбию будет больно читать, да <тут> есть истинное, а как же вы во мне выставите пошлым то, где пошлость в одной внешности? Чувство боли началось со второй стра-

ницы, где вы бросили камень в того, кого ленивый не бьет, — в мужика русского» [Гоголь 2009–2010. 14: 223].

Дело, однако, заключалось в том, что Гоголь, исходя из представления о падшести человеческого рода в целом, высшим выразителем народного духа считал не рядового человека «из толпы» или даже «из народа». Достаточно указать на критическое замечание Гоголя в статье «Светлое Воскресенье» о народном праздновании Светлой Пасхи — о том, что «сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадает на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня, <...> не успела еще заря осветить земли» [Гоголь 2009–2010. 6: 197]. Среди представителей «народа» Гоголь вывел чичиковских Петрушку и Селифана, а также слугу Хлестакова Осипа, рассуждающего о деревенской жизни: «...возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на полатях да ешь пироги» [Гоголь 2009–2010. 3/4: 235]. Очевидным «продолжением» этой реплики «Ревизора» являются размышления Чичикова в «Мертвых душах» о крепостном крестьянине с именем Григорий Доезжай-не-доедешь: «...Может, <...> лежа на полатях, думал, думал, да ни с того ни с другого заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь, и поминай как звали. Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью!» [Гоголь 2009–2010. 5: 133]. (Статистику самоубийств в России регулярно публиковал в те годы «Журнал Министерства Внутренних Дел»¹, постоянным читателем которого был Гоголь [Виноградов 2019b]).

¹ См., в частности, статистику самоубийств, опубликованную в 1841 г. (в завершающий год работы Гоголя над первым томом «Мертвых душ»): Краткий годовой отчет Санкт-петербургского обер-полицмейстера за 1840 год // Журнал Министерства Внутренних Дел. 1841. Ч. XXXIX. № 1–3. Январь–март. С. 160; Табель о происшествиях более или менее примечательных в 1840 году // Журнал Министерства Внутренних Дел. 1841. Ч. XL. № 4–6. Апрель–июнь. <Приложение> XX; Отчет Московского обер-полицмейстера, за 1840 год // Журнал Министерства Внутренних Дел. 1841. Ч. XLI. № 7–9. Июль–сентябрь. С. 11; Извлечение из годового отчета Гродненского гражданского губернатора, о состоянии вверенной ему губернии, за 1840 год // Журнал Министерства Внутренних Дел. 1841. Ч. XLI. № 7–9. Июль–сентябрь. С. 175; Общая табель необыкновенных, более или менее замечательных происшествий по Гродненской губернии, за 1840 г. // Журнал Министерства Внутренних Дел. 1841. Ч. XLI. № 7–9. Июль–сентябрь. <Приложение> II; Извлечение из отчета Министерства Юстиции, за 1840 год // Журнал Министерства Внутренних Дел. 1841. Ч. XLII. № 10–12. Октябрь–декабрь. С. 168–169.

В «Авторской исповеди» Гоголь замечал, что пристальной заботы и внимания требует не крестьянин, но то сословие, которое, выйдя «из земледельцев», «занимает разные мелкие места» и, «не имея никакой нравственности», стремится «жить за счет бедных»: «А землепашец наш мне всегда казался нравственнее всех других и менее других нуждающимся в наставлениях писателя» [Гоголь 2009–2010. 6: 218]. Наиболее значимыми выразителями народа — вышедшим из него «цветом нации» — Гоголь по праву считал людей, действительно явивших себя лучшими, сравнительно с другими. Такими исключительными явлениями народного духа он считал, во-первых, христианских подвижников, святых Церкви. Во-вторых, в число таких образцов для подражания Гоголь включал, в согласии с выдвинутым С. С. Уваровым в 1834 г. тезисом о народности отечественной литературы, лучших русских писателей и поэтов. (По-видимому, Гоголь вполне разделял при этом и подчеркнутое С. П. Шевыревым в 1834 г., в его знаменитой диссертации, представление о глубокой народности Данте. Сравнительно с религией, наукой и искусством, Шевырев называл словесность «самым полным выражением всей человеческой жизни народов»¹ и подчеркивал: «...Коренное чувство наше есть сознание нашей народности... <...>; это чувство есть мера прочного успеха наших писателей...»²).

Относительно распространенности и укорененности в русском обществе положительных типов, явленных в писателях и поэтах, Гоголь опять-таки сохранял трезвый, уравновешенный взгляд. Отличительные, коренные свойства, представленные в русском многоцветном поэтическом наследии, Гоголь вывел в сниженном состоянии, — в образах пяти «сатирических» героев-помещиков первого тома «Мертвых душ» — созданных, по гоголевскому признанию, на основе анализа собственной души (см. об этом: [Виноградов 2009; Виноградов 2017a; Виноградов 2017b]).

Убежден был Гоголь и в том, что «у нас дворянство есть цвет нашего же» народа [Гоголь 2009–2010. 6: 319] и что следует «ввести дворянство в познание истинное своего званья» [Гоголь 2009–2010. 6: 146]: «Сословие это в своем истинно русском ядре прекрасно, несмотря на временно наросшую чужеземную шелуху. Но дворянство этого еще не слышит. <...>

¹ Шевырев С. Взгляд Русского на современное образование Европы. С. 220.

² Там же. С. 294.

Дворянство у нас есть как бы сосуд, в котором заключено <...> нравственное благородство, долженствующее разноситься по лицу всей Русской земли затем, чтобы подать понятие всем прочим сословиям, почему сословие высшее называется цветом народа» [Гоголь 2009–2010. 6: 146, 148]; «Большую частью заслуги пред царем, народом и всей землей Русской возводили у нас в знатный род людей из всех решительно сословий. <...> В награду за доблести, за испытанную честную службу даются ему в управление крестьяне, даются ему, как просвещеннейшему, как ставшему выше пред другими, — в предположении, что такой человек, кто лучше других понял высокие чувства и назначение, может лучше править, чем какой-нибудь простой чиновник, выбираемый в заседатели, или капитан-исправники. <...> Дворянство должно быть сосудом и хранителем высокого нравственного чувства всей нации, рыцарями чести и добра, которые должны сторожить сами за собою» [Гоголь 2009–2010. 6: 319]. Очевидно, Гоголь подразумевал здесь слова Апостола: «...Пасите стадо Божие <...> не для гнусной корысти <...> и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду...» (1 Петр. 5, 3).

В одном из набросков к заключительной главе второго тома «Мертвых душ» Гоголь, очевидно, напоминая об одном из изображенных им ранее ярких представителей «русского дворянства» Тарасе Бульбе [Гоголь 2009–2010. 1/2: 308], писал: «Помещики, они позабыли свою обязанность. <...> Или нельзя <...> на них подействовать, или они не лучше других воспитали [понятье о чести]. Или не восприимчивее <...> их душа, чем необразованного человека? Или на голос Отчизны не откликнулось дело их? Или не из среды их мелькнули Суворовы, Мордвиновы, Чичаговы, Орловы, Румянцевы и ряды героев самоотверженья, которых не уместит на страницах своих подробнейшая летопись» [Гоголь 2009–2010. 5: 660].

Изучение поэтики гоголевской сатиры убеждает в глубоком религиозном мирозерцании писателя, свойственном ему с самого начала художественной деятельности. Глубокий исповедальный, психологический характер творчества обуславливал структурную целостность и непротиворечивую последовательность развития Гоголя, единство его «сатирических» и «несатирических» произведений, а также органичное сочетание в гоголевском наследии смехового начала с пастырским обличением. В христианском психологизме заключается исключительная самобытность гоголевской поэтики.

Список литературы

Бодрова А. С. «...Поправки были важные...»: К истории текста повести Н. В. Гоголя «Рим» // Н. В. Гоголь: Материалы и исследования. М.: ИМЛИ РАН, 2009. Вып. 2. С. 7–40.

Венгеров С. А. Писатель-гражданин. (Письма Н. В. Гоголя. Редакция В. И. Шен-рока. Издание А. Ф. Маркса. 4 тома. Спб. 1901) // Русское богатство. 1902. № 2. С. 122–145.

Виноградов И. А. Гоголь — художник и мыслитель: Христианские основы миро-созерцания. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. 448 с.

Виноградов И. А. «Дело, взятое из души...» // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 17 т. (15 кн.) / сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009. Т. 5. С. 530–571.

Виноградов И. А. Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современни-ков. Полный систематический свод документальных свидетельств. Научно-крити-ческое издание: в 3 т. М., ИМЛИ, 2012. Т. 2. 1031 с.

Виноградов И. А. Блаженны миротворцы. От повести о двух Иванах к замыслу «Мертвых душ» // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2017. № 3. С. 7–18. (а)

Виноградов И. А. Блаженны миротворцы. От повести о двух Иванах к замы-слу «Мертвых душ» (продолжение) // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2017. № 4. С. 51–67. (б)

Виноградов И. А. Самая патриотическая книга нашей словесности («Выбран-ные места из переписки с друзьями Николая Гоголя») // Актуальные вопросы изу-чения духовной и светской словесности / под ред. М. И. Щербакова. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького РАН. М.: ИПО «У Никитских ворот», 2017. Вып. 1. С. 77–94. (с)

Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809–1852). С родословной летописью (1405–1808). Научное издание. В 7 т. М.: ИМЛИ РАН, 2017–2018. Т. 1–7.

Виноградов И. А. Литературная проповедь Н. В. Гоголя: pro et contra // Проблемы исторической поэтики. 2018. Т. 16. № 2. С. 49–124. (а)

Виноградов И. А. Неизвестная полемика Н. В. Гоголя о наследии М. Ю. Лермонтова // Светская и духовная словесность в России XVIII–XIX веков. Научное издание / Ред. М. И. Щербакова. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького РАН. М.: ИМЛИ РАН, 2018. <Вып. 2>. С. 5–18. (б)

Виноградов И. А. Страсти по Гоголю. О духовном наследии писателя. Научно-популярное издание. М.: Вече, 2018. 320 с. (с)

Виноградов И. А. Образ монарха-наставника в творчестве Н. В. Гоголя // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 2. С. 111–134. (а)

Виноградов И. А. Князь В. Ф. Одоевский, Н. В. Гоголь и «Журнал Министерства Внутренних Дел»: К постановке проблемы // Литература и философия: От роман-тизма к XX веку. К 150-летию со дня смерти В. Ф. Одоевского / Отв. ред. и сост. Е. А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2019. С. 58–70. (б)

Виноградов И. А. «Когда в товарищах согласья нет...» А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, С. С. Уваров // Два века русской классики. 2019. Т. 1. № 1. С. 34–103. (с)

Виноградов И. А. Славянофильство и западничество в споре о поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»: неустребованное и забытое // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 1. С. 62–153. (а)

Виноградов И. А. Н. В. Гоголь и законы Российской Империи: к единству наследия писателя // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 2. С. 66–133. (б)

Виноградов И. А. Послужной список Городничего в «Ревизоре». К характеристике политических взглядов Н. В. Гоголя // Литературный факт. 2020. № 1 (15). С. 237–282. (с)

Говоруха-Отрок Ю. Н. Чему нас учит Гоголь? // Говоруха-Отрок Ю. Н. Во что веровали русские писатели? Литературная критика и религиозно-философская публицистика / издание подготовили А. П. Дмитриев и Е. В. Иванова. СПб.: Росток, 2012. Т. 1. С. 760–768.

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: <В 14 т.> <Л.>: АН СССР, 1938. Т. 3. 728 с.

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: <В 14 т.> <Л.>: АН СССР, 1951. Т. 4. 552 с.

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: <В 14 т.> <Л.>: АН СССР, 1949. Т. 5. 512 с.

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: <В 14 т.> <Л.>: АН СССР, 1951. Т. 6. 924 с.

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: <В 14 т.> <Л.>: АН СССР, 1952. Т. 8. 816 с.

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: В 17 т. (15 кн.) / Сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2009–2010.

<Григорий Синаит, св.> Иже во святых отца нашего Григория Синаита. Слова различны о заповедех, догматех, муках и обетованиях; еще же о помыслех, страстех, добродетелех, безмолвии и молитве // Добротолюбие, или слова и главизны священного трезвения, собранные от писаний святых и Богодухновенных отец. М., 1793. Ч. 1. Л. 76–99.

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. 512 с.

Дризен Н. В., барон. Драматическая цензура двух эпох. 1825–1881. Пг.: Прометей, 1917. 345 с.

Завитневич В. Религиозно-нравственное состояние Н. В. Гоголя в последние годы его жизни // Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный Историческим Обществом Нестора-летописца / Под ред. Н. П. Дашкевича. Киев: Типография Р. К. Лубковского, 1902 <1903>. Отд. II. С. 338–424.

Зеньковский В. Н. В. Гоголь. Париж: YMCA-PRESS, <1961>. 262 с.

<Исаак Сирин, св.>. Творения иже во святых Отца нашего аввы Исаака Сириянина, подвижника и отшельника, бывшего епископом христоролюбивого града Ниневи, Слова подвижнические. 3-е изд., испр. Сергиев Посад: Типография Св<ято>-Тр<оицкой> Сергиевой Лавры, 1911. 668 с.

Константин (Зайцев), архимандрит. Гоголь как учитель жизни // Н. В. Гоголь и Православие / Составление И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. Вступит. статья и примеч. И. А. Виноградова. М.: Отчий дом, 2004. С. 340–357.

Лопухин А. П. Библиейская история Ветхого и Нового Заветов. Полное издание в одном томе. М.: Альфа-книга, 2009. 1216 с.

Луцевич Л. Ф. «Признания мои не имеют никакой нравственной цели» («Моя исповедь» Н. М. Карамзина) // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 2. С. 46–65.

Одоевский В. Ф. Романтические повести / Предисловие, вступ. статья и редакция Ореста Цехновицер. Л.: Прибой, 1929. 398 с.

Петров Н. И. Новые материалы для изучения религиозно-нравственных воззрений Н. В. Гоголя // Труды Киевской Духовной академии. 1902. № 6. С. 270–317.

Писарев Д. И. Генрих Гейне // <Писарев Д. И.> Сочинения Д. И. Писарева. <В 10 ч.>. 1866–1869 / Изд. Ф. Павленкова. СПб.: Типография А. Головачева, 1867. Ч. 4. 159 + 71 с. <Пагинация 1>: Статьи критические. 159 с. С. 48–100. (а)

Писарев Д. И. Наши усыпители // <Писарев Д. И.> Сочинения Д. И. Писарева. <В 10 ч.>. 1866–1869 / Изд. Ф. Павленкова. СПб.: Типография А. Головачева, 1867. Ч. 4. 159 + 71 с. <Пагинация 2>: Статьи полемические. 71 с. С. 3–19. (б)

Пушкин. Полное собрание сочинений: в 16 т. М.; Л., АН СССР, 1837–1959. Т. 13: Переписка, 1815–1827 / Ред. Д. Д. Благой. 1937. 651 с.

Тихонравов Н. Примечания редактора и варианты // <Гоголь Н. В.> Соч. Н. В. Гоголя. 10-е изд. / Текст сверен с собственноручными рукописями автора и первоначальными изданиями его произведений Н. Тихонравовым. М., 1889. Т. 5. С. 541–682.

Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 2014. Т. 15. Кн. 2. 766 с.

Феофан Затворник, святитель. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из слова Божия. Краткие поучения. М.: Правило веры, 2009. 400 с.

Чаговец Всеволод. На родине Гоголя. (Реликвии) // Киевская Газета. 1901. 21 окт. № 291. С. 4.

References

Bodrova A. S. «...*Popravki byli vazhnye...*»: *K istorii teksta povesti N. V. Gogolia «Rim»* [“...The amendments were important ...”: To the history of the text of the novel by N. V. Gogol “Rome”]. *N. V. Gogol: Materialy i issledovaniia* [N. V. Gogol: Materials and Research]. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2009, issue 2, pp. 7–40. (In Russ.)

Vengerov S. A. *Pisatel'-grazhdanin. (Pis'ma N. V. Gogolia. Redaktsiia V. I. Shenroka. Izdanie A. F. Marksa. 4 toma. Spb. 1901)* [Writer is a citizen. (Letters of N. V. Gogol. Editorial by V. I. Chenrok. Edition by A. F. Marx. 4 volumes. St. Petersburg, 1901)]. *Russkoe bogatstvo* [Russian wealth], 1902, № 2, pp. 122–145. (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Gogol' — khudozhnik i myslitel': Khristianskie osnovy mirosozertsaniya* [Gogol Is an Artist and a Thinker: Christian Foundations of the World Outlook]. Moscow, The Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., Nasledie Publ., 2000, 448 p. (In Russ.)

Vinogradov I. A. “*Delo, vziatoe iz dushi...*” [“A Mission Coming from the Soul...”]. *Gogol' N. V. Polnoe sobranie sochinenii: v 17 tomakh (15 knigakh)* [Gogol N. V. The Complete Works and Letters: in 17 Vols (15 Books)]. Moscow, Kiev, Moskovskaya Patriarkhiya Publ., 2009, vol. 5, pp. 530–571. (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Gogol' v vospominaniakh, dnevnikakh, perepiske sovremennikov. Polnyi sistematicheskii svod dokumental'nykh svidetel'stv* [Gogol in contemporaries' memoirs, diaries and correspondence. Full systematic set of documentary evidence]. In 3 v. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2013, vol. 2, 1032 p. (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Blazhenny mirotvortsy. Ot povesti o dvukh Ivanakh k zamyslu “Mertvykh dush”* [Blessed Are the Peacemakers. From the Story of the Two Ivans to the Idea of “Dead Souls”]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya* [Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology], 2017, № 3, pp. 7–18. (In Russ.) (a)

Vinogradov I. A. *Blazhenny mirotvortsy. Ot povesti o dvukh Ivanakh k zamyslu «Mertvykh dush» (prodolzhenie)* [Blessed Are the Peacemakers. From the Story of the Two Ivans to the Idea of “Dead Souls” (The Continuation)]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya* [Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology], 2017, № 4, pp. 51–67. (In Russ.) (b)

Vinogradov I. A. *Samaia patrioticheskaiia kniga nashei slovesnosti («Vybrannye mesta iz perepiski s druz'iami Nikolaia Gogolia»)* [The Most Patriotic Book of Our Literature (“The Selected Passages from Correspondence Between Nikolai Gogol and His Friends”)]. *Aktual'nye voprosy izucheniia dukhovnoi i svetskoii slovesnosti* [Actual Questions of Studying Spiritual and Secular Literature]. Moscow, U Nikitskikh vorot Publ., 2017, issue 1, pp. 77–94. (In Russ.) (c)

Vinogradov I. A. *Letopis' zhizni i tvorchestva N. V. Gogolia (1809–1852). S rodoslovnoi letopis'iu (1405–1808). Nauchnoe izdanie. V 7 tomakh* [Chronicle of Life and Work of N. V. Gogol (1809–1852). With a Genealogical Chronicle (1405–1808): in 7 Vols].

Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2017–2018, vol. 1–7. (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Literaturnaia propoved' N. V. Gogolia: pro et contra* [The Literary Sermon of N. Gogol: Pro et Contra]. *Problemy istoricheskoi poetiki* [The Problems of Historical Poetics], 2018, vol. 16, № 2, pp. 49–124. (In Russ.) (a)

Vinogradov I. A. *Neizvestnaia polemika N. V. Gogolia o nasledii M. Iu. Lermontova* [Unknown polemic by N. V. Gogol on the legacy of M. Yu. Lermontov]. *Svetskaiia i dukhovnaia slovesnost' v Rossii XVIII–XIX vekov. Nauchnoe izdanie* [Secular and spiritual literature in Russia of the 18th — 19th centuries. Scientific publication], editor M. I. Sherbakova. A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2018, Issue 2, pp. 5–18. (In Russ.) (b)

Vinogradov I. A. *Strasti po Gogoliu. O dukhovnom nasledii pisatel'ia. Nauchno-populiarnoe izdanie* [Passion for Gogol. On the spiritual heritage of the writer. Popular science publication]. Moscow, Veche Publ., 2018, 320 p. (In Russ.) (c)

Vinogradov I. A. *Obraz monarkha-nastavnika v tvorchestve N. V. Gogolia* [The image of the monarch-mentor in the works of N. V. Gogol]. *Problemy istoricheskoi poetiki* [Problems of Historical Poetics], 2019, vol. 17, № 2, pp. 111–134. (In Russ.)

Vinogradov I. A. *Kniaz' V. F. Odoevskii, N. V. Gogol' i "Zhurnal Ministerstva Vnutrennikh Del": K postanovke problemy* [Prince V. F. Odoevsky, N. V. Gogol and the "Journal of the Ministry of Internal Affairs": On the statement of the problem]. *Literatura i filosofii: Ot romantizma k XX veku. K 150-letiiu so dnia smerti V. F. Odoevskogo* [Literature and philosophy: From Romanticism to the 20th century. On the 150th anniversary of V. F. Odoevsky's death], ed. and comp. E. A. Taho-Godi. Moscow, Vodolei Publ., 2019, pp. 58–70. (In Russ.) (b)

Vinogradov I. A. "Kogda v tovarishchakh soglas'ia net..." A. S. Pushkin, N. V. Gogol', S. S. Uvarov ["When there is no agreement among comrades..." A. S. Pushkin, N. V. Gogol, S. S. Uvarov]. *Dva veka russkoi klassiki* [Two Centuries of Russian Classics], 2019, vol. 1, № 1, pp. 34–103. (In Russ.) (c)

Vinogradov I. A. *Slavianofil'stvo i zapadnichestvo v spore o poeme N. V. Gogolia "Mertvye dushi": nevestrebovannoe i zabytoe* [Slavophilism and Westernism in the dispute about N. V. Gogol's poem "Dead Souls": unclaimed and forgotten]. *Dva veka russkoi klassiki* [Two Centuries of Russian Classics], 2020, vol 2, № 1, pp. 62–153. (In Russ.) (a)

Vinogradov I. A. *N. V. Gogol' i zakony Rossiiskoi Imperii: k edinstvu nasledii pisatel'ia* [Nikolai Gogol and the laws of the Russian Empire: on the unity of the writer's heritage]. *Dva veka russkoi klassiki* [Two centuries of the Russian classics], 2020, vol. 2, № 2, pp. 66–133. (In Russ.) (b)

Vinogradov I. A. *Posluzhnoi spisok Gorodnichego v "Revizore". K kharakteristike politicheskikh vzgliadov N. V. Gogolia* [The Mayor's career in "The Government Inspector". On Nikolai Gogol's political views]. *Literaturnyi fakt* [Literary fact], 2020, № 1 (15), pp. 237–282. (In Russ.) (c)

Govorukha-Otrok Iu. N. *Chemu nas uchit Gogol?* [What does Gogol teach us?]. Govorukha-Otrok Iu. N. *Vo chto verovali russkie pisateli? Literaturnaia kritika i religiozno-filofskaia publitsistika* [What did Russian writers believe in? Literary criticism and religious-philosophical journalism], publication were prepared by A. P. Dmitriev and E. V. Ivanova. St. Petersburg, Rostock Publ., 2012, vol. 1, pp. 760–768. (In Russ.)

Gogol' N. V. *Polnoe sobranie sochinenii: v 14 tomakh* [The Complete Works: in 14 Vols]. Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1938, vol. 3, 728 p. (In Russ.)

Gogol' N. V. *Polnoe sobranie sochinenii: v 14 tomakh* [The Complete Works: in 14 Vols]. Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1951, vol. 4, 552 p. (In Russ.)

Gogol' N. V. *Polnoe sobranie sochinenii: v 14 tomakh* [The Complete Works: in 14 Vols]. Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1949, vol. 5, 512 p. (In Russ.)

Gogol' N. V. *Polnoe sobranie sochinenii: v 14 tomakh* [The Complete Works: in 14 Vols]. Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1951, vol. 6, 924 p. (In Russ.)

Gogol' N. V. *Polnoe sobranie sochinenii: v 14 tomakh* [The Complete Works: in 14 Vols]. Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1952, vol. 8, 816 p. (In Russ.)

Gogol' N. V. *Polnoe sobranie sochinenii i pisem: V 17 tomakh (15 knigakh)* [The Complete Works and Letters: in 17 Vols (15 Books)]. Moscow, Kiev, Moskovskaya Patriarkhiya, 2009–2010, vol. 1–17. (In Russ.)

Gregory the Sinaite, saint. *Izhe vo sviatykh ottsa nashego Grigoriia Sinaita. Slovesa razlichnye o zapovedekh, dogmatekh, mukakh i obetovaniakh; eshche zhe o pomyslekh, strastekh, dobrodetelekh, bezmolvii i molitve* [Our Holy Father Gregory Sinait. Various words about commandments, dogmas, torments and promises, and also about thoughts, passions, virtues, silence and prayer]. *Dobrotoliubie, ili slovesa i glavizny sviashchennogo trezveniiia, sobrannnye ot pisanii sviatykh i Bogodukhnovennykh otets* [Philosophy, or words and chapters of sacred sobriety, collected from the writings of the saints and God-inspired fathers]. Moscow, 1793, part 1, sheet 76–99. (In Russ.)

Dostoevskii F. M. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh* [Complete works: in 30 vols.]. Leningrad: Nauka Publ., 1976, vol. 14, 512 p. (In Russ.)

Drizen N. V., Baron. *Dramaticheskaiia tsenzura dvukh epokh. 1825–1881* [Dramatic censorship of two eras. 1825–1881]. Petrograd: Prometheus Publ., 1917, 345 p. (In Russ.)

Zavitvich V. *Religiozno-nravstvennoe sostoianie N. V. Gogolia v poslednie gody ego zhizni* [Religious and moral condition of N. V. Gogol in the last years of his life]. *Pamiati Gogolia. Nauchno-literaturnyi sbornik, izdannyi Istoricheskim Obshchestvom Nestoraletopistsa* [In memory of Gogol. A scientific and literary collection published by the Historical Society of Nestor the Chronicler], edited by N. P. Dashkevich. Kiev: Printing house of R. K. Lubkovsky Publ., 1902 <1903>, Division 2, pp. 338–424. (In Russ.)

Zen'kovskij V. N. *V. Gogol'*. Paris, YMCA-PRESS Publ., 1961, 262 p. (In Russ.)

Isaak Sirin, St. *Tvoreniia izhe vo sviatykh Ottsa nashego avvy Isaaka Siritianina, podvizhnika i otshel'nika, byvshego episkopom khristoliubivogo grada Ninevii, Slova podvizhnicheskie* [The creations of the saints of the Father of our Abba Isaac the Syrian, ascetic and hermit, former bishop of the Christ-loving city of Nineveh, are Words of Ascetic]. 3rd edition, revised. Sergiev Posad: Printing house of the Holy Trinity St. Sergius Lavra Publ., 1911, 668 p. (In Russ.)

Constantine (Zaitsev), archimandrite. *Gogol' kak uchitel' zhizni* [Gogol as a teacher of life]. N. V. Gogol' i Pravoslavie [N. V. Gogol and Orthodoxy], compiled by I. A. Vinogradov, V. A. Voropaev, introductory article and notes by I. A. Vinogradov. Moscow, Father's House Publ., 2004, pp. 340–357. (In Russ.)

Lopukhin A. P. *Bibleiskaia istoriia Vetkhogo i Novogo Zavetov. Polnoe izdanie v odnom tome* [The biblical story of the Old and New Testaments. Full edition in one volume]. Moscow, Alfa-kniga Publ., 2009, 1216 p. (In Russ.)

Lutsevich L. F. “Priznaniia moi ne imeiut nikakoi npravstvennoi tseli” (“Moia ispoved” N. M. Karamzina) [“My confessions have no moral purpose” (“My Confession” by Nikolay Karamzin)]. *Dva veka russkoi klassiki* [Two centuries of the Russian classics], 2020, vol. 2, № 2, pp. 46–65. (In Russ.)

Odoevskii V. F. *Romanticheskie povesti* [Romance novels], foreword, introductory article and editorial board of Orest Tshehnovitser. Leningrad, Priboy Publ., 1929, 398 p. (In Russ.)

Petrov N. I. *Novye materialy dlia izucheniiia religiozno-nravstvennykh vozzrenii N. V. Gogolia* [New materials for the study of religious and moral views of N. V. Gogol]. *Trudy Kievskoi Dukhovnoi akademii* [Proceedings of the Kiev Theological Academy], 1902, № 6, pp. 270–317. (In Russ.)

Pisarev D. I. *Genrikh Geine* [Heinrich Heine]. *Sochineniia D. I. Pisareva. V 10 chastyakh. 1866–1869* [Compositions by D.I. Pisarev. In 10 parts. 1866–1869], edition of F. Pavlenkov. St. Petersburg, Printing house A. Golovacheva Publ., 1867, part 4. 159 + 71 pp. Pagination 1. Articles are critical, 159 p., pp. 48–100. (In Russ.) (a)

Pisarev D. I. *Nashi usypiteli* [Our lullers]. *Sochineniia D. I. Pisareva. V 10 chastyakh. 1866–1869* [Compositions by D. I. Pisarev. In 10 parts. 1866–1869], edition of F. Pavlenkov. St. Petersburg, Printing house of A. Golovachev Publ., 1867, part 4. 159 + 71 p. Pagination 2. Polemic articles. 71 p., pp. 3–19. (In Russ.) (b)

Pushkin. *Polnoe sobranie sochinenii: v 16 tomakh* [Complete Works: in 16 volumes]. Moscow, Leningrad, Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR Publ., 1837–1959. Vol. 13. Perepiska, 1815–1827 [Correspondence, 1815–1827], editorial D. D. Blagoy, 1937, 651 p. (In Russ.)

Tikhonravov N. *Primechaniia redaktora i varianty* [Notes of the editor and options]. *Sochineniia N. V. Gogolia. 10-e izdanie* [Works of N. V. Gogol. 10th edition], the text is verified with the author's own manuscripts and the initial editions of his works by N. Tikhonravov. Moscow, 1889, vol. 5, pp. 541–682. (In Russ.)

Turgenev I. S. *Polnoe sobranie sochinenii i pisem: v 30 tomakh. Pis'ma: v 18 tomakh* [The Complete Works and Letters: in 30 Vols. Letters: in 18 Vols.], 2nd edition, amended and supplemented. Moscow, Science Publ., 2014, vol. 15, book 2, 766 p. (In Russ.)

Theophan the Recluse, saint. *Mysli na kazhdyi den' goda po tserkovnym chteniiam iz slova Bozhiia. Kratkie poucheniia* [Thoughts for every day of the year according to church readings from the word of God. Brief teachings]. Moscow, Rule of Faith Publ., 2009, 400 p. (In Russ.)

Chagovets Vsevolod. *Na rodine Gogolia. (Relikvii)* [In the homeland of Gogol. (Relics)]. *Kievskaiia Gazeta* [Kiev Newspaper], 1901, October 21, № 291, p. 4. (In Russ.)